

ХИЗГИЛ АВШУЛУМОВ

**ТОЛМАЧ
ИМАМА**



ХИЗГИЛ АВШАЛУМОВ

ТОЛМАЧ ИМАМА

ПОВЕСТЬ
и рассказы



Повесть дагестанского писателя Хизгила Авшалумова «Толмач Имама» рассказывает о событиях, относящихся к периоду национально-освободительного движения горцев под руководством Шамиля. В основе повести лежат действительные события. Почти все герои — не вымышленные, а исторические лица.

Небольшое по объему произведение насыщено глубоким содержанием. В нем автор повествует о суровом, но благородном и мужественном характере горцев, о судьбе пленных грузинских княгинь А. Чавчавадзе и В. Орбелиани, русского солдата Индриса (Андрея), ставшего впоследствии приближенным Шамиля, его толмачем, о любви Индриса к молодой горянке Мадине.

В сборник включен также ряд рассказов автора.

ПЛЕННИЦЫ ШАМИЛЯ

Пленные грузинские княгини, родные сестры Анна Чавчавадзе и Варвара Орбелиани, внучки последнего царя Грузии Георгия XIII, доставленные вчера в дом Шамиля, с тревогой ожидали решения своей участи. Шамиль еще не говорил с ними. Они видели его издали, мельком, когда их, еле живых от волнения и усталости, ввезли вчера в обширный двор Шамиля, полный народа.

Было это на закате. Жаркий летний день тихо угасал, и над аулом Ведено, окруженном лесистыми горами, затянутыми легкой сиреневой дымкой, догорала вечерняя заря. Она заливала багрово-золотистым сиянием серые плоские крыши саклей, из труб которых курился кудрявый дым, узкие пыльные улочки, верхушки стройных тополей, застывших, как неусыпные часовые, у въезда в аул.

Имам стоял на веранде обычной двухэтажной горской сакли, окруженный небольшой группой своих наибов. Высокий, прямой, широкий в плечах, он заметно выделялся среди них не только гордой внушительной осанкой, но и запоминающейся внешностью.

В отличие от своих приближенных, Шамиль был одет в белую черкеску, стянутую в талии

узким наборным поясом, на котором спереди висел большой кинжал с серебряной рукояткой отличной кубачинской работы, а сбоку — длинная, изогнутая сабля. Голову имама венчала большая папаха с красным верхом, обвитая белой чалмой. К спине от чалмы ровно спускался длинный кусок той же белой материи. Поэтому со стороны он чем-то напоминал белое, чуть раскрытое крыло. Казалось, стоит имаму взмахнуть им, и он тот час же оторвется от земли, гордой сказочной птицей пронесется над родными горами и ущельями. Его большая, окладистая, выкрашенная хной огненно-рыжая борода на фоне белой черкески пламенела, как костер, на груди. Если бы борода имама не была выкрашена хной, она, очевидно, имела бы почти такой же цвет, как его черкеска или чалма. Об этом нетрудно было догадаться по его взлохмаченным бровям, которые были совсем седыми. Но сухощавое продолговатое лицо шестидесятилетнего имама казалось в розовом отблеске вечерней зари отлитым из бронзы, выражало энергию и волю, было суровым и несколько торжественным.

Когда княгинь везли в Ведено, они на всем протяжении долгого и тяжелого пути по горам и ущельям не встретили ни одного аула, который был бы расположен в долине. Аулы ласточкиными гнездами лепились на высоченных каменных крутизнах, под которыми нередко зияли глубокие пропасти. И княгини, подавленные и потрясенные произошедшим и увиденным, невольно думали: «Если бы горцы были не черты, то не смогли бы жить на таких скалах, не свернув себе шеи».

Но думая о предстоящей встрече с Шамилем, княгини представляли его как врага сурового, непреклонного, но умного и не лишённого чувства сострадания и справедливости. Это было единственной надеждой и утешением в горестном положении пленниц, которое в какой-то степени поддерживало их душевные силы, не давая впасть в крайнее отчаяние.

На следующий день Шамиль пожелал лично поговорить с княгинями. Об этом заблаговременно уведомила их одна из жен Шамиля, Шуанет, женщина лет за тридцать, высокая, белая, несколько полноватая, но очень красивая.

И действительно, после ухода Шуанет, вскоре появился и сам Шамиль. Одежда на нем была сегодня не нарядная, как вчера. Он был без оружия, в старой черкеске из домотканного сукна, без газырей, в простых горских чарыках, черной папахе. Да и чалма, хотя и чистая, видимо, недавно выстиранная, обтянутая вокруг высокой папахи, была далеко не новой. Видимо, вчера он оделся по-праздничному по случаю возвращения из похода на Грузию своего сына Кази-Магомеда.

Шамиль не переступил порога, а остановился у отворенной двери. Кто-то принес ему табуретку. Когда Шамиль опустился на нее, широко расставив длинные крепкие ноги, два горца встали справа и слева от имама. Один из них, одетый очень скромно, но несколько необычно, в старый длиннополый тёмный бешмет, опоясанный кушаком, с высокой, узловатой чалмой на голове, был казначеем имама. Звали его Арипом. Но с

тех пор как он совершил хадж — паломничество в святую Мекку, к его имени прибавилось почётное прозвище «Хаджи». Поэтому многие, в том числе и Шамиль, называли его просто Хаджи, что очень льстило его самолюбию набожного мусульманина.

Казначей был худой, нескладный и сумрачный человек лет пятидесяти с рябинками на строгом бледном лице и очень тонкими, почти прозрачными большими оттопыренными ушами. Многие наибы, разбогатевшие в последние годы, недолюбливали скромного, необщительного и прижимистого казначея и между собой любили позлословить на его счет. Главной мишенью их острот и насмешек были уши казначея, которые, по их мнению, являли собой очевидный признак его чрезмерной скупости. И чтобы заставить казначея быть «добрым», некоторые остряки советовали напасть на него ночью, из-за угла, и сбрить ему уши. Но даже самые злые зубоскалы в душе были вынуждены признать исключительную честность казначея, его беззаветную преданность общему делу, проникались к нему невольным уважением.

Другой горец, стоявший по левую руку имама, молодой, широкоплечий, с пышными, цвета спелой ржи усами и улыбчивыми ясными синими глазами, в отличие от тихого и почтительного Хаджи, держался непринужденно, даже весело, сложив ладони на рукоятке кинжала. То был переводчик — толмач имама со странным именем Индрис.

Пленницы остались внутри скупо освещенной единственным маленьким оконцем комнаты, в которой пол был устлан белыми войлоками и обычными горскими коврами.

Шамиль, окинув пленниц быстрым, пристальным, испытывающим взглядом, молча кивнул им головой в знак приветствия, глуховатым, но твердым голосом спросил о здоровье.

— Устали с дороги, но, слава богу, здоровы, — не решительно ответила с легкой дрожью в голосе за себя и за сестру старшая княгиня Анна, женщина лет двадцати восьми со смугло-матовым цветом продолговатого лица и черными печальными глазами.

Шамиль одобрительно кивнул головой.

— Валлах, я сам удивляюсь, что вы все дошли сюда благополучно, — просто, по-домашнему, с со чувственными нотками в голосе проговорил имам и тут же, подняв глаза кверху, уверенно добавил: — Но я вижу в этом явное доказательство того, что аллах сохранил вас для исполнения давнишнего моего намерения.

Но прежде чем объяснить пленным княгиням, что у него за «давнишнее намерение», имам велел толмачу передать им, чтобы они были совершенно спокойны, что их здесь никто не обидит и в его доме с ними будут обращаться как с членами семьи.

Это несколько успокоило княгинь, и они сдержанно поблагодарили имама. Но о своем «давнишнем намерении», которое побудило имама поручить своему сыну Кази-Магомеду во

время набега на Грузию похитить грузинских знатных особ, он объяснил кратко: «Хочу выручить сына, находящегося у русских».

Вдруг спокойное, почти приветливое лицо имама стало каменно-непроницаемым, а голос зазвучал сурово и угрожающе:

— Но если вы попытаетесь войти в какие бы то ни было тайные сношения с вашими и если ваши будут писать вам что-нибудь недолжное, неподобающее, — глаза имама сверкнули молнией, — то я не пощажу не только вас, но и ваших детей¹.

Княгини прекрасно понимали свое безвыходное и унижительное положение пленниц, но, услышав угрозу, почувствовали себя глубоко оскорбленными.

Шамиль терпеливо ждал, что скажут пленницы. Прошло несколько минут, прежде чем княгини, справившись с волнением, смогли ответить грозному старику. Первой заговорила младшая сестра — Варвара, стройная, молодая женщина лет двадцати шести с мягким, но крутым упрямым подбородком и ясным твердым взглядом больших черных обворожительных глаз.

За каких-нибудь полгода на долю этой молодой женщины выпало немало тяжких испытаний. От тяжелой раны, полученной на войне с турками, умер ее муж, генерал, князь Илико Орбелиани. Несколько дней спустя после смерти мужа она похоронила своего маленького сына. В довершение всех бед месяц тому назад, когда Варвара

¹ Княгини были увезены в Ведено с детьми, некоторыми родственницами и служанками.

гостила у сестры в родовом имении ее мужа князя Давида Чавчавадзе в Цинандале, она вместе с сестрой, родственницами, детьми и слугами была похищена мюридами Шамиля.

Несмотря на огромную усталость, которую она продолжала ощущать во всем теле, и душевную боль, Варвара заставила себя подняться и гордо выпрямиться. С трудом сохраняя внешнее спокойствие, она открыто и смело посмотрела на имама, в хмуром, остром взгляде и во всем облике которого, несмотря на преклонный возраст, чувствовалась скрытая отвага и какая-то, как ей казалось, устрашающая и в то же время покоряющая сила.

— Угрозы ваши напрасны, имам, и они оскорбительны и неприятны, — произнесла она прерывающимся от волнения голосом, — ни наше высокое звание потомков славных царей Грузии, ни наше благородное воспитание не позволяют нам лгать, лицемерить... Мы никогда не нарушим своего честного слова...

Как только толмач перевел Шамилю слова молодой княгини, тот сразу встал. Поднялась и встала рядом с сестрой, словно подчеркивая этим свое полное единодушие с ней, и княгиня Анна,

— Очень хорошо, — смягчив тон, энергично мотнул головой имам. Но тут же, хмуро насупив седые брови, строго заметил: — Кем бы вы ни были, не забывайте, что вы — пленницы Шамиля!

Как только аудиенция окончилась, имам вернулся в свой рабочий кабинет, где он обычно

принимал с докладом наибов, совещался с членами диван-хана — народного совета, творил суд, отдавал различные распоряжения по гражданским и военным делам через своего личного секретаря — катиба.

Здесь же, в рабочем кабинете, хранилась почти вся огромная личная библиотека Шамиля, составляющая сорок два конных вьюка. Шамиль очень гордился своей библиотекой и дорожил ею больше, чем сокровищами казны. Даже в самые тяжелые трагические дни своей жизни и существования имамата, летом 1859 года, он проявлял большое беспокойство о судьбе своей библиотеки. Когда он с четырьмястами наибями — жалкими остатками своего разбитого войска — пробирался в естественную крепость Гуниб, чтобы обороняться за его неприступными горами от царских войск, наряду с сокровищами казны, на семнадцати лошадях везли туда и книги, подобранные по указанию имама из его личной библиотеки.

Вечерами, в свободные часы, Шамиль любил коротать время над книгами. Своими довольно обширными знаниями он был целиком обязан им. И свое искусство отличного оратора, он тоже приписывал постоянному чтению вслух.

Но последнее время Шамиль редко прикасался к книгам. Почти всегда на коленях у него лежала одна и та же старая книга в кожаном лоснящемся переплете — Коран, на обложке которой рукой Шамиля еще двадцать четыре года тому назад была выведена бесконечно дорогая его серд-

цу надпись: день, месяц и год рождения своего первенца Джамалутдина, названного им в честь своего воспитателя, а затем — тестя.

Длинные, узловатые пальцы имама очень часто подолгу задерживались на этой надписи. И он, словно забывшись в такие минуты, целиком отдавался своим беспокойным думам и воспоминаниям.

Пятнадцать долгих лет прошло с тех пор, как имам отдал своего сына Джамалутдина в аманаты царскому командованию, как убедительное доказательство того, что он, Шамиль, не хочет ссоры и вражды с Россией, с русскими. Но царь Николай и его офицеры вероломно нарушили условия перемирия, заключенного в 1839 году, и не вернули сына отцу.

Джамалутдину уже пошел двадцать пятый год. Как он выглядит сейчас?..

Старый имам пытался силой воображения представить себе дорогие черты сына, но это ему не удавалось. Перед глазами отца сын неизменно вставал таким, каким навечно, как резьба по камню, запечатлелся в сердце: маленьким, светловолосым, с худым бледным лицом, широко открытыми карими ласковыми глазами. Отец почти никогда не расставался с ним. Часто возил его с собой в походы. В одном из боев Джамалутдин даже был ранен шальной пулей в плечо.

Шамиль в глубокой задумчивости опускает глаза. Перед ним, как наяву, отчетливо, во всех подробностях встает тот печальный день, когда он расстался с девятилетним сыном. Вот его

личный друг, ближайший наиб, суровый черкес Юнус вместе с его маленьким Джамалутдином отправляются по петляющей горной дороге в лагерь к русским. Хватаясь одной рукой за дугу седла, чтобы не упасть с лошади, мальчик то и дело с плачем оборачивался назад, надеясь, что отец, услышав его крик, пожалеет и вернет обратно. Но отец не отзывается. А он, еще больше обиженный и встревоженный безучастным отношением отца к его великому горю, кричит, как ягненок под ножом, размазывая кулачком слезы по лицу, но продолжает покорно ехать рядом с молчаливым Юнусом, который крепко держит повод его лошади в своей сильной руке.

Шамиль с горечью думает, что его сын, конечно, давно забыл родную речь, родные горы. Он, наверно, почти не помнит его, Шамиля. А пленные русские офицеры, словно подсыпая соль на его старую рану, твердят в один голос, что Джамалутдин чувствует себя у них, в России, хорошо и счастливо и даже не помышляет о возвращении в горы и что он теперь совсем другой, чужой для них человек...

Толмач Индрис не раз передавал имаму подслушанные им разговоры между русскими пленными офицерами о Джамалутдине. Хотя эти сообщения не приносили ему никакого утешения, а скорее наоборот, но благодаря им Шамиль знал почти все, что касалось его сына-аманата. Он знал, что Джамалутдин все эти годы находился в столичном городе русских — Петербурге, воспитывался при дворе, получал офицерский

чин и присягнул на верность России. Шамилю было известно и то, что Джамалутдин любит дочь какого-то русского бека² и должен скоро на ней жениться. Но прежде чем это сделать, его сын, сын имама Дагестана и Чечни, должен перейти в христианство, венчаться в церкви и целовать крест...

Это еще не все. Хитрый и вероломный царь Николай, оказывая Джамалутдину всяческие знаки внимания, хочет сделать из него преданного слугу. Через него — «своего доверенного человека» — он собирается оказать влияние на Шамиля, склонить его к прекращению сопротивления, а вернее, к признанию господства царя над Дагестаном. Разве ради этого отдали свои жизни два его предшественника: имам Кази-Мулла и имам Гамзат-бек, погибли тысячи его мюридов, а сам он, воюя почти четверть века и участвуя в многочисленных сражениях, получил сорок ранений и увечий!?

Шамиль быстро закрывает толстую книгу в мягком засаленном кожаном переплете. Он почтительно кладет ее на низенький столик, где с легким треском догорает толстая восковая свеча, встает и, полный тревожных дум, взволнованно шагает по комнате, покрытой старыми коврами. От его высокой, статной движущейся фигуры ложится густая тень на стене. В слабом мерцании свечи она то вытягивается, переламываясь и захватывая всю стену и часть потолка, то до смешного укорачивается.

² Б е к — помещик, дворянин.

Почувствовав духоту, имам подошел к маленькому окну, выходящему во двор, и бесшумно открыл его. Легкий ветерок обдал печальное, задумчивое лицо имама свежей прохладой и пошевелил его окладистой бородой, точно играя с ней. Было далеко за полночь. Аул спал. Все вокруг было погружено в сонное оцепенение. И как-то не верилось, что где-то сейчас гремят выстрелы, ухают пушки, стонут раненые, идут на разведку дозоры... Ущелья и горы были окутаны густой тьмой, и их очертания едва угадывались.

На темном необъятном небе весело перемигивались крупные мохнатые звезды.

Тонкие губы имама, почти скрытые под усами, тронула лукавая улыбка. Он вспомнил горячие споры на заседании народного совета, которое проходило вчера под его началом в этой комнате. Главной темой разговора, конечно, были пленные грузинские княгини.

Все знали, что княгини похищены, чтобы обменять их на сына Шамиля, находящегося при русском дворе. Но некоторые члены совета настаивали на том, чтоб за грузинских княгинь потребовать не только Джамалутдина, но и один миллион рублей. Шамиль прекрасно понимал, что миллион рублей — это фантастическая сумма. Такое жесткое условие может только осложнить задуманное им дело, не ускорить, а оттянуть возвращение сына, а может, не дай аллах, и свести на нет все его усилия и надежды. Но чтобы не обижать членов совета, он сказал им не прямо, а в шутилой форме, что если мужья и родствен-

ники пленниц продадут с молотка все, что у них есть, вплоть до собственных штанов, и останутся в чем мать родила, они и тогда не соберут и пятую часть той громадной суммы, которую они требуют за княгинь.

Вопреки всякому ожиданию горячо и настойчиво первым возразил имаму обычно тихий и молчаливый Хаджи, который до сих пор ни разу не позволял себе ни вслух, ни про себя прекословить Шамилю, питал к нему благоговейное уважение и как многие веденцы клялся его именем и здоровьем. Но заманчивая перспектива заполучить для казны миллион рублей вывела его из обычного состояния и так взволновала Хаджи, что не только его оттопыренные прозрачные уши, но даже рябинки на бледном худом лице вспыхнули краской.

— Если у них не найдется столько денег, пусть тогда сам царь Миколай, аллах его погуби, внесет эту сумму, — с жаром произнес Хаджи. — Ведь мужья княгинь — офицеры Миколая, да чтоб не к добру было помянуто его окаянное имя... А владения у русского царя не меньше, чем у турецкого султана, казна его неистощима, чтоб она не пошла впрок ему и его потомству. Клянусь жизнью имама, миллион рублей был бы хорошим пополнением для нашей скудной казны, — так закончил Хаджи свою речь, похожую на мольбу и заклинание.

Имам, видя, что остальные члены совета не только сочувственно относятся к предложению разошедшегося казначея, но и откровенно за-

щищают его, не стал настаивать на своем. Когда требовалось, он всегда поступал так, как считал нужным, правильным независимо от мнения совета. И сейчас он решил завтра же утром вызвать к себе толмача Индриса. Пусть он от его имени передаст пленным княгиням волю совета и пусть они срочно заготовят письмо для посылки в русский лагерь.

Короткая летняя ночь близилась к концу. Пропел петух, протяжно, хрипло. Вслед за ним началась петушина перекличка во всех концах аула. Где-то недалеко послышалось тонкое жалобное бление козленка, видимо, истосковавшегося по матери. По небу стремительно пронеслась горящая звезда, словно жаркая головня, выхваченная из костра и брошенная в темную бездну. Волоча за собой длинный огненный хвост, она тотчас же рассыпалась тысячью искр, погасла, растаяла в зябком предрассветном мраке: чья-то душа в это мгновение перестала жить, покинув навеки мир.

Утомленное, сумрачное лицо имама с отяжелевшими веками стало скорбным. Он наспех прошептал короткую молитву по ушедшему из жизни человеку. Затем, также бесшумно закрыв окно, Шамиль, усталый, отягощенный тяжелыми думами, отправился на покой.

ГЯУР

Юный горец с сабельным шрамом до самого подбородка, пересекавшим его левую щеку и тонкую черную бровь, с длинным, как шест, кремневым ружьем за спиной, широким кинжалом на поясе и свинцовыми пулями вместо газырей на старой рыжей черкеске ехал на низенькой, но резвой лошадке. Позади коня устало плелся пленный русский солдат, со связанными за спину руками, темно-бурым пятном запекшейся крови в рыжеватых усах. Солдат был молодой, рослый, густо заросший щетиной.

Пленный шел, понуро опустив голову, угрюмо и опасно поглядывая себе под ноги. Временами он хмуро озирался по сторонам. Кругом, куда не кинь взор, высились громады гор. Они громоздились друг на друге, упираясь вершинами в небо. Гулкая каменистая тропа, по которой он следовал за всадником, словно по узенькому карнизу на стене, пролегла на самом краю глубокой пропасти у подножья высокой горы. По дну пропасти ревела река. Она мчалась с быстротой горячего скакуна, кипящими волнами перекачиваясь через огромные валуны, лежавшие на ее пути. Один неверный шаг — и человек легко мог сорваться и полететь камнем в страшную бездну. Но в небрежной, горделивой позе юного всадни-

ка, который, слегка откинувшись назад, сидел в седле, как шах на троне, положив левую руку на бедро, чувствовалось абсолютное спокойствие и даже беспечность. Да и лошадка под ним, мерно постукивая подковами о гранит, уверенно карабкалась вверх. Время от времени юный горец поворачивался назад и оглядывал пленного. На его мальчишески нежном, простодушном лице, которому даже шрам на щеке не мог придать суровости воина, проступала довольная улыбка, а черные глаза блестели озорно и весело.

Постепенно крутые подъемы, над которыми низко нависало серое небо, стали чаще сменяться длинными спусками и широкими долинами, окруженными невысокими лесистыми горами и пологими холмами, с еще не скошенными пожелтевшими хлебами.

День был на исходе, когда всадник со своим «трофеем» подъехал к родному аулу Ведено. За одним из поворотов дороги, ведущей прямо в аул, уже виднелись окрестные сады с позолоченной осенью листвой, за которыми возвышались верхушки тополей, доносился приглушенный лай собак.

Чем ближе подъезжал горец к своему аулу, тем выше поднималась его голова и радостнее улыбались уста, но ниже опускалась голова пленного, угрюмым, беспокойным и замкнутым становилось его лицо. Перед входом в чужой, враждебный ему аул, он испытывал такое же болезненное и тревожное чувство, какое испытывает несчастный проштрафившийся солдат, которому предстоит

изведать сполна все моральные и физические муки варварской экзекуции — гонение сквозь строй...

Но вопреки мрачному и тревожному предположению пленного, когда они очутились в ауле, бесшабашные дети с криком не гонялись за ним, не дразнили и не забрасывали его камнями, разгневанные женщины не плевали в лицо, а хмурые, суровые старики, сыновья которых сражались или погибли за «газават», не размахивали перед ним палками, потрясая седыми бородами. Люди молча, одни с любопытством, другие равнодушно, третьи с неприязнью взирали на русского пленного, ничем особенно не проявляя интереса к нему.

Миновав несколько узких переулков, где с обеих сторон теснились плоскокрышие сакли, всадник остановил лошадь у открытых ворот небольшого двора, обнесенного невысоким забором из нетесанного дикого камня. Он легко спрыгнул на землю, ввел лошадь во двор. Солдат послушно последовал за ним и хмуро огляделся. Посреди двора в окружении своих покорных подруг, задрав высоко голову и воинственно выпятив грудь, важно вышагивал красноперый петух, как фельдфебель на плацу, горделиво озираясь по сторонам. В дальнем углу двора у забора желто-коричневым холмом возвышался стог сена. Рядом с одноэтажной саклей впритирку ней стояла небольшая овчарня с низким каменным арочным отверстием, напоминавшим вход в пещеру, откуда несло овчиной, навозом и прелым сеном.

— Отец! — громко и бодро крикнул юноша, глядя на темный дверной проем в сакле.

Огромный лохматый пес с черной острой мордой, спокойно дремавший за стогом сена, радостно встрепенулся и тотчас же вскочил на ноги, загнув колесом пушистый хвост. Но увидев рядом с молодым хозяином чужого человека, с громким лаем устремился на него.

Молодой горец, выпустив из рук поводья и за-слонив собой пленного, сердито крикнул на пса:

— Галбац³, убирайся вон!

Но Галбац, продолжая неистово лаять, вихрем носился вокруг них, порываясь укусить солдата. Разозлившись, молодой горец выдернул кинжал из ножен и с бранью кинулся на пса. Он два раза ударил собаку сбоку кинжалом плашмя и, пиная её ногой, насильно вытолкал за ворота. Лошадь, почувствовав свободу, веселой рысцой побежала к стogu сена.

Из сакли поспешно вышел старый Шапи — отец юноши — согбенный, худой горец с короткой седой бородой, с сухим, коричневым и морщинистым, как кора карагача, лицом.

Увидев сына, старик сперва остановился в удивлении, точно не веря своим глазам, а потом быстро засеменил к нему нетвердой старческой походкой.

— Иса!.. Сын мой!.. — прерывающимся от волнения голосом, на ходу произнес старик. — Слава аллаху, ты жив...

Подойдя к Исе, старик со сдержанной лаской притронулся сухой, слегка дрожащей рукой к

³ Г а л б а ц — лев.

плечу сына, радостно разглядывая его. А он почтительно стоял перед отцом, стройный, высокий, и смущенно улыбался. Потом старик перевел взгляд на молча стоявшего поодаль солдата со связанными руками, и лицо его сразу стало мрачным и злым.

— А это?.. — кивнув на солдата, угрюмо спросил Шапи сына.

— Пленный русский. Индрисом его зовут,— поглядывая на солдата, самодовольно улыбнулся Иса, показывая ослепительно белые зубы.

— Офицер?

Иса покачал головой.

— Нет.

— Жаль!.. За офицера можно было бы получить выкуп, а это что... — разочарованно махнул рукой Шапи, как на несостоящее дело.

— Зато он будет делать за тебя все в хозяйстве,— позволил себе сын возразить отцу. — Ведь ты один мужчина остался дома... Поэтому наиб и распорядился дать мне его: «Бери, говорит, Иса, его отведи твоему отцу и завтра же возвращайся в отряд...»

— Жаль, — снова повторил Шапи.

— Офицера все равно мне бы не дали, — с легкой досадой на отца произнес Иса.

— Почему? — обиженно спросил старик.

— Все русские офицеры — беки, и все они близкие друзья и помощники русского падишаха — нашего лютого врага. Поэтому, когда офицер попадает в плен, его не отдают никому. Имам велел не спускать глаз с пленных офицеров.

Старик ничего не ответил, только еще резче насупил седые мохнатые брови. Затем он, что-то шепча про себя бескровными губами, приблизился к Индрису. Подняв голову, старик принялся спокойно и внимательно заглядывать в опущенные синие глаза солдата, словно отыскивая в них что-то. Но, встретившись с настороженным и хмурым взглядом пленного, старик озлился и, ткнув черным пальцем с синим обломленным ногтем, словно копьем, в его широкую грудь, сердито прогудел:

— Уу-у-ух гя-ур!

Солдат дернулся, словно в него выстрелили, и, враждебно покосившись на старика, гаркнул ему в лицо:

— Убегу! Все равно убегу, не удержите!..

Старик опешил и от неожиданности попятился назад. Насупив брови, он, удивленный и сконфуженный, воззрился на сына.

Иса тоже не понял, что сказал солдат, но по тону его голоса догадался, что русский сердится, а может, и ругается. Но он то ли не желая расстраивать старого отца, то ли желая пошутить, а может, просто жалея пленного, с самым серьезным видом сказал старику:

— Голодный он, отец... Говорит: «Сначала накорми, а потом любуйся сколько хочешь».

Старик осторожно и испытывающе посмотрел опять на солдата:

— Уу-у-ух гя-ур! — произнес он вновь, на этот раз тихо, почти беззлобно, держась от пленного на почти тельном расстоянии, видимо, приняв

«объяснение» сына за чистую монету, — не просит, а просто-таки рывкает, шайтан проклятый!..

Когда Иса принялся развязывать руки пленному, с кувшином за спиной во двор вошла дочь старика — Мадина — молодая горянка с бледным пасмурным лицом и печальными темно-кариими глазами. Увидев брата, она, словно перестав ощущать тяжесть, легко выпрямилась, откинувшись назад. Белый ситцевый платок сполз с головы Мадины на узкие плечи, обнажив гладкие, блестящие черные волосы и длинные косы. Лицо ее оживилось, черные вразлет, как у брата брови, удивленно взметнулись, глаза заблестели радостью.

Поспешно сняв кувшин, она, забыв от волнения натянуть платок на голову, с радостным криком бросилась на шею Исе.

...Обедали все вместе. Отец и сын сидели рядышком, поджав под себя ноги и оживленно разговаривая. Солдат скромно уселся с краю, держась особняком. Перед едой Мадина принесла медный тазик и кувшинчик с узким длинным изогнутым горлышком. Сперва помыл руки отец, а потом сын. Пленник, подавшись всем корпусом вперед, тоже собирался было протянуть (руку под струю воды, но Мадина отдернула кувшин. На какую-то долю секунды их глаза встретились. Она посмотрела на русского взглядом, полным какой-то затаенной боли и жгучей ненависти. Под этим взглядом солдат густо покраснел и как-то съежился, смущенно отвел глаза в сторону, словно его уличили в чем-то нехорошем. Но решив,

что мытье рук перед едой — это не только необходимость, а, видимо, у этих людей обязательный ритуал, без совершения которого запрещено принимать пищу, Индрис встал, прошел в угол, где Мадина только что поставила таз и кувшинчик. Помыв руки, солдат не решился попросить полотенце у сердитой хозяйки. Вытерев их о подол своей запыленной и выгоревшей солдатской гимнастерки, он тихо вернулся на место.

Почти всю ночь, несмотря на большую усталость, Индрис не мог заснуть. Тревожные, гнетущие думы отгоняли сон. Да и Галбац до поздней ночи все время бесновался во дворе, заливаясь громким, оглушительным лаем. Иногда он подходил вплотную к двери и передними лапами начинал царапать, рассерженный тем, что в сакле находится чужой человек. Раза два или три среди ночи Иса вставал, ругаясь, прогонял собаку от дверей. Но после короткого затишья пес снова возвращался и снова принимался за свое.

Лишь под утро солдат забылся беспокойным сном. Ему снился бой, в котором он последний раз участвовал. Сражение шло в глухом и тесном ущелье, над которым с обеих сторон бесконечной громадой высились исполинские горы с отвесными каменистыми склонами.

Мюриды и солдаты, смешавшись в пылу сражения, с остервенением рубили, кололи друг друга, стреляли из ружей. В нежарком осеннем воздухе, пропахшем пороховой гарью, стоял звон мечей, оглушительно гремели беспорядочные выстрелы, отдаваясь протяжным и многократным эхом

далеко от места кровавого побоища. Все это смешивалось с глухими ударами падающих камней, криками раненых, проклятиями умирающих. И казалось, что это вопят и стонут сами горы.

В ту самую минуту, когда Индрис, возбужденный и разгоряченный боем, нацелился штыком в грудь юного мюрида со шрамом на щеке, устремившегося на него с обнаженным кинжалом, кто-то с сокрушающей силой ударил его сзади по голове. У солдата сразу потемнело в глазах, а из ослабевших рук выпала винтовка. Он покачнулся и, чувствуя, что проваливается куда-то в бездну, упал плашмя лицом на каменистое дно ущелья, молча, без крика.

Очнулся он от резкого толчка в бок и не сразу сообразил, где он, почему лежит здесь, почему вокруг такая удивительная тишина, от которой у него звенит в ушах, и отчего свинцовая тяжесть, и нестерпимая боль во всем теле. Открыв глаза, он сперва, как в тумане, а потом ясно увидел над собой того самого юного мюрида со шрамом на щеке, чью грудь он хотел пронзить штыком, и оцепенел от ужаса. Он с замирающим сердцем ждал: вот-вот мюрид резким движением сорвет ружье с плеча, выстрелит ему в грудь, в голову или, выхватив кинжал из ножен, с искаженным от дикой ярости лицом изрубит его на куски. Ему хотелось крикнуть нечеловеческим голосом, во всю силу своих легких, так, чтобы, содрогнувшись, отступила смерть, грозно и неотвратимо нависшая над ним. Он, человек, который участвовал во многих сражениях и не раз встречавшийся

и прислушался к звону металла, видимо, желая определить на слух его ковкость, провел ногтем по мелким острым отточенным зубьям. По серому, утомленному от бессонной ночи заросшему лицу солдата промелькнула едва заметная грустная улыбка, а синие глаза подернулись легким туманом. Он положил серп загнутой зубчатой стороной на плечо, как это обычно делают жнецы, идущие на жатву или возвращаясь с поля.

Старик, подняв бесцветные глаза с красноватыми веками, угрюмо, но с внутренним удовлетворением, наблюдал за неторопливыми, уверенными движениями пленного. Руки у гяура были большие, натруженные, крестьянские, привычные к топору и лопате.

Шапи, сгибая сутулую костлявую спину, отчетливо проступающую из-под серой, давно не стиранной длинной бязевой рубахи, быстро зашёл в саклю. Вскоре он вернулся, держа в руке котомку с едой, и передал ее Индрису. Они прошли через аул и, миновав окрестные сады, вышли на дорогу, поднимавшуюся в гору. Пока Шапи и Индрис добрались до поля, куда вел старик своего работника, туман рассеялся, весело взошло солнце и озарило все вокруг ясным светом. На небольшой площади, примерно с десятину, принадлежащей Шапи, желтела поздняя пшеница. Стебли были невысокие и настолько изреженные, что сквозь них, точно плешина сквозь редкие волосы на голове, проглядывала сухая почва.

Старик взял с плеча Индриса серп и жестами показал, что ему следует делать. Постояв немного

возле него и наблюдая за тем, как он быстро сгребает левой рукой в кулак стебли, а правой ловко срезает их, Шапи вернулся той же дорогой в аул.

За несколько дней Индрис скошил весь участок, собрал снопы в одно место, сложил в скирды. Потом он расчистил под гумно часть скошенного поля от стерни, плотно утрамбовал ее катком, залил водой. Когда почва стала достаточно ровной, гладкой и твердой, приступил к обмолоту. Индрис один, без посторонней помощи, раскидал снопы на гумне, гнал лошадь с молотильной доской по кругу, сам же веял зерно, ссыпал его в самодельные мешки, а к вечеру, нагрузив их на низенькую двухколесную скрипучую арбу, запряженную волом, доставлял домой.

Русский работал с молчаливым ожесточением, словно стараясь заглушить этим душевную боль, тоску по воле, отвлечься от тягостных мыслей.

Хотя весь день ему приходилось работать в поте лица и самый вид этих непривычных его глазу гор угнетал его, точно неприступные стены мрачной тюрьмы, но вдали от старика, его дочери и злого пса, он чувствовал себя легче, свободнее. Каждый раз, как только Индрис показывался на дворе, Гал-бац бросался на него с неугасающей яростью.

Уходя из дому или возвращаясь с работы, Индрис, желая задобрить Галбаца, всегда держал наготове в ладони кусочки хлеба, сушеного курдюка или баранины из своих скромных запасов еды, которую дочь старого хозяина заблаговременно клала ему в котомку перед уходом на

работу. Но пес без зазрения совести, хватая на лету лакомые кусочки и поспешно проглатывая их, тут же, оскалив острые клыки, с не меньшей яростью преследовал его. По вечерам из-за собаки он не решался выйти во двор по надобности. А старик очень часто ворчал, сердито косясь на него и ругал на чем свет стоит всех русских гяуров. Дочь же его, казалось, через силу переносила присутствие гяура и бросала на него такие леденящие душу взгляды, что бедному Индрису время, проведенное им в одиночестве на работе, казалось праздником по сравнению с тем, что он испытывал дома. Поэтому Индрис старался как можно раньше уходить из аула и позже возвращаться в него.

Это произошло на девятый день после того, как русский солдат оказался работником в доме старого Шапи. Индрис, возвращаясь с работы, по обыкновению держал для Галбаца в зажатой руке кусочки хлеба и вяленого мяса. Едва он вступил во двор, собака, как разъяренный тигр, прыгнула на него. В одно мгновение передние лапы задыхающегося от ярости пса оказались на груди Индриса. Оскаленная черная морда, обдавая лицо солдата горячим, мокрым, прерывистым дыханием, упрямо тянулась к его горлу, а горящие глаза так и впились в испуганные, растерявшиеся глаза человека. В руках у Индриса не было ни лопаты, ни топора, чтобы отбиться от взбесившегося пса. Когда собака, вытягиваясь изо всех сил, вот-вот должна была вонзить в него свои острые клыки, дрожащая рука Индриса, которой он держал «гос-

тинцы» для нее же, как-то разжалась сама собой и непроизвольно легла на голову пса. Сам не зная отчего и почему, Индрис даже не попытался ни отбросить, ни оттолкнуть его, ни даже крикнуть.

— Галбац! Галбац! Что с тобой, успокойся, не сердись!..

Рука Индриса машинально гладила и гладила обезумевшего пса по кудлатой голове. В тревожном, торопливом и прерывающемся голосе пленного слышалось волнение, отчаяние, просьба, дружеская ласка и мягкий укор, обращенные к собаке.

С собакой произошло что-то странное и непостижимое. Кровожадный огонь в глазах погас, пристыженная и покоренная, она отвела их в сторону и медленно опустила передние лапы на землю. Не обращая внимания на кусочки мяса и хлеба, рассыпанные на земле, она повернулась, низко опустив черную морду и пушистый хвост, скуля побрела к стогу сена, как побитая.

Три дня собака почти неподвижно лежала, свернувшись калачиком, укрываясь за стогом сена, не реагируя ни на что. И еду, которую подавали ей старик или дочь, она не проглатывала с торопливой жадностью, как раньше, а ела лениво, с неохотой, с какой-то мрачной тоской в подернутых влагой глазах. Старик даже начал было опасаться: не заболел ли пес, не дал ли ему кто-нибудь кусок, в котором была спрятана игла.

И ни разу за эти три дня, когда Индрис уходил в поле или возвращался домой, пес не только не набрасывался на него с лаем, но и как будто ста-

рался ничем не обнаруживать свое присутствие во дворе, уткнувшись мордой в сено.

Но на четвертый день Индрис сам подошел к Галбацу. При виде его собака, спрятав глаза и не поднимая с земли головы, чуть приветливо зашевелила хвостом и позволила ему погладить себя по голове.

Вскоре «чужак» и собака подружились и подружились крепко. При виде Индриса она весело виляла хвостом, поднималась на задние лапы, высунув язык и широко открыв пасть, словно весело смеясь во весь рот, смешно подпрыгивала вокруг солдата, будто на радостях отплясывала танец. А когда Индрис садился во дворе мастерить что-нибудь или на веранде отдохнуть, Галбац с наслаждением разваливался у его ног, весело и преданно глядя ему в глаза.

Одиноким, тоскующим Индрис был рад, что хоть одно живое существо любит его здесь, встречает, как друга. В глубине души его никогда не покидала мысль о побеге. Но бежать в одежде русского солдата, не зная местных условий, языка, предусмотрительный Индрис считал слишком рискованным. И он, вооружившись терпением, ждал благоприятного момента. Теперь, когда прошло более полгода с того дня, как его привезли в Ведено и отдали в работники старику Шапи, ему казалось, что наступило благоприятное время для побега. Одет он как обыкновенный горец. Правда, ходит он в рваных, латаных и перелатанных обносках старика. Но не в этом суть. Самое главное, за это время Индрис научился не

только понимать, но более или менее сносно разговаривать «по-татарски», к чему он настойчиво стремился все эти месяцы.

Работая один в поле или в саду хозяина, не контролируемый никем, пленный иногда совершал небольшие вылазки — прогулки в разные стороны от аула. А когда не бывало работы ни в поле, ни по хозяйству, он свободно разгуливал по аулу или посещал базар в пятницу, куда съезжались люди не только из близлежащих чеченских и аварских аулов, но из многих наибств имамата.

Нередко в базарный день, если Шамиль находился не в войсках, а в доме, многие жители Ведено и другие горцы, съехавшись сюда из разных концов Дагестана и Чечни, говорящие на десятках языках и наречиях, заполняли его обширный двор, улицу, примыкающую к нему, чтобы увидеть, услышать имама, чье имя было у всех на устах. И Шамиль с веранды своего дома, а иногда, не выходя из своей канцелярии, стоя у раскрытого окна, обращался с речью или проповедью к народу. Не раз Индрис, смешавшись с толпой, видел, слышал его.

Как-то раз Индрис, слоняясь по базару, встретил одного русского, тоже оказавшегося, как и он, бывшим солдатом, одетого как типичный горец и назвавшегося Михаилом.

— А теперь, — пояснил он усмехнувшись, глядя на Индриса слегка выпуклыми, озорно-лукавыми серыми глазами, — зовут меня Микаилом.

От него Индрис впервые узнал, что недалеко от Ведено находится целый русский поселок и

что многие его жители живут здесь давно, обзавелись семьями и женаты на горянках. Новый знакомый Индриса не скрывал, что он добровольно перешел на сторону горцев и пошел на это из-за кровной обиды, которую нанес ему его барин. Тот отнял у него невесту и, набаловавшись ею вдоволь, не то подарил, не то продал, а может, и проиграл в карты другому помещику. А во время очередного набора рекрутов в армию барин, чьим крепостным он был, отдал его в солдаты. Через год горно-стрелковый батальон, в котором служил Михаил, перебросили в Дагестан для «усмирения горцев». После первого же столкновения его подразделения с мюридами ночью перебежал он к горцам и добровольно сдался в плен.

Существование целого поселка из беглых русских солдат или взятых во время боев в плен было неожиданной, приятной новостью для Индриса. После встречи со своим новым знакомым на базаре Индрис не раз ходил «в гости к землякам». От них он узнал, что среди пушкарей в шамилевской армии имеются и русские солдаты и что Шамиль и его наибы проявляют полное дружелюбие к русским солдатам, перешедшим на их сторону.

Встречи с земляками, душевные беседы с ними, родная русская речь, которую он слышал здесь, приносили ему некоторое утешение, но большой радости не доставляли. Многие из них — он это чувствовал — навсегда осели в горах, наподобие Михаила-Микаила, обзавелись семьями, а другие расчетливо выжидали в плену конца войны, чтобы потом вернуться в родные места

живыми и невредимыми. Но Индрис не хотел ждать ни конца этой долгой войны, ни тем более осесть в этом чужом краю, где, кроме неба, ничто не напоминало ему о родине. Неоднократное посещение им русского поселения несколько не смягчило снедающую душу солдата тоску по родным, по русской природе, по родной деревне. Наоборот, казалось, оно еще больше усиливало в нем стремление жить, работать и умереть только на родной земле, только среди своих. И он твердо решил, что пришло время, когда он может без особого риска совершить задуманный побег. Мысль о побеге настолько крепко жила в нем, что Индрис совершенно забывал, что, очутившись на родной стороне, ему снова всучат винтовку и погонят в бой, где он может погибнуть или остаться калекой на всю жизнь.

Летним июньским вечером возвращался Индрис с работы в аул с вязанкой свежескошенной травы за спиной. В мечтах он уже видел себя пробирающимся малоисхоженными и потайными тропами все дальше и дальше от Ведено. Сердце пленного то сладко замирало, то беспокойно стучало в груди. Индрис с ласковой грустной улыбкой думал о Галбаце, который, конечно, будет тосковать за ним, и в душе пожалел собаку.

Думая о старике и его дочери, он уверял себя, что покидает их без всякого зла. За это время он почти уже привык к ним, и они вроде бы к нему. Старик давно перестал сердито ворчать на пленного русского, а дочь — косо глядеть на него. Старый Шапи, спасибо ему за это, никогда не

стеснял его свободы, почти всегда одобрительно отзывался о его работе на поле, в саду, дома. Нередко они со стариком охотно и долго беседовали, особенно по вечерам за ужином или днем, сидя во дворе на чурбане. Он знал почти все о Шапи, о его семье. Два старших сына старика были убиты кровниками еще лет двадцать тому назад, а зять, муж Мадины, погиб на войне с русскими в позапрошлом году. Когда пришло известие о смерти зятя, дочь была в положении. Ребенок родился хилым, болезненным. Как только отец и дочь ни берегли новорожденного, выходить его не смогли. Ребенок умер на руках у старика.

Иса был младшим и единственным сыном старого Шапи, его надеждой и отрадой. Старик день и ночь жил в постоянной тревоге: он боялся, что может потерять в этой затянувшейся, изнурительной войне, которой не видать конца и края, и своего единственного сына.

Подойдя в тот вечер к открытым воротам дома хозяина, Индрис пораженно остановился. Внутри двора на камнях и бревнах, расставленных вдоль забора, недвижимо застыли белобородые старики со скорбными лицами, а молодые молча стояли на ногах, печально опустив головы. Старый Шапи, еще более согнувшись и потемнев, поминутно мотая седой головой, ходил, пошатываясь, взад и вперед по двору. Удивленно и беспомощно разводя опущенными, как плеть, ссохшимися руками, он разговаривал сам с собой. Из сакли доносился плач женщин. Хотя Индрис Ни разу не слышал плачущую Мадину, но среди других голосов он

сразу отличил ее голос. Она плакала громко и отчаянно, словно душа ее разрывалась на части.

Сердце Индриса упало и глухо забилося. Черная догадка молнией ожгла сознание: погиб Иса, юный, отчаянный, добродушный и веселый, каким Индрис запомнил его на всю жизнь.

Индрис осторожно снял с плеч вязанку травы, положил ее на землю, постоял так несколько минут в напряженном раздумье, не зная что делать. К искреннему состраданию, которое он испытывал сейчас к неутешному горю этой семьи, где он прожил около года, примешивалось чувство неловкости и какой-то вины перед нею. Он не знал, как ему сейчас показаться на глаза Шапи, этих суровых стариков, сдержанных и печальных юношей, пришедших разделить его горе. Может быть, лучше всего сейчас, сию же минуту, не откладывая, бежать, бежать без оглядки?.. Но после недолгого и мучительного раздумья Индрис тут же решительно отверг эту мысль. Ему показалось бесчестным, черным предательством в такой горький и тяжкий для этой семьи час оставить ее; убежать, несмотря на то, что каждый раз, когда он думал о побеге, чувствовал крылья за плечами.

Индрис заставил себя войти во двор. Скорбно опустив голову, он на виду у всех, чувствуя на себе любопытные и недоуменные взгляды, приблизился к старику, остановился перед ним. Когда он осторожно и боязливо взял сухую расслабленную морщинистую руку Шапи в свои, тот остановился и слегка вздрогнул, как человек, которого неожиданно разбудили от сна.

— А?!. — подняв голову, посмотрел старик на гяура беспомощно, растерянно. Узнав своего работника, он не удивился, не разгневался, не выдернул руку, а надтреснутым, сдавленным голосом горестно воскликнул :

— Индрис! О Индрис!.. Иса погиб!.. Иса!..
— Шапи умолк, покачиваясь всем телом.

И столько невысказанной отцовской муки и боли было в его сухих, застывших глазах, горестном покачивании, поникших, точно крылья подстреленной птицы, худых плечах, что горло Индриса сдавила острая спазма. Он прижал руку старика к своему мокрому лицу и, прильнув к ней губами, судорожно заплакал, вздрагивая всем своим мощным телом.

Последние красноватые лучи закатного солнца вспыхнули, задрожав, будто листья от ветра, и вновь померкли, набросив траурную тень на аул. В тишине летнего вечера на фоне синееющего неба с верхушки острого, как копье, минарета мечети раздался, словно протяжный заунывный плач, вечерний азан будуна:

Велик аллах, велик аллах!

Свидетельствую: нет никого, кроме единого.

Свидетельствую: Магомед — посланник его.

Приходите молиться, приходите к счастью.

Молитва лучше сна и покоя,

Велик аллах, велик аллах!..

И люди, собравшиеся во дворе старика Шапи, степенно и медленно, храня строгое молчание, начали расходиться.

ЛЮБОВЬ

Дни, недели и месяцы шли своим чередом. Лето сменилось осенью, осень — зимой, а зима — цветущей весной. Природа, которой не было дел до людских горестей и бед, жила своей жизнью. Сбросив оковы зимы, она шумно торжествовала, словно справляя пышный, веселый праздник. Из сочной зелени и цветов волшебница-весна соткала яркие, пестрые сказочные ковры. Она украсила ими горные склоны и альпийские пастбища, одела в нежный бело-розовый убор сады, накинула щедрой рукой кружевную атласную листву на придорожные кусты, деревья и окрестные леса. Весело щебетали и пели птицы, в густых зарослях призывно куковала кукушка. Из-под тяжелых скал с орлиным клекотом днем и ночью бились прозрачные студеные горные родники.

Глядя сейчас на Индриса, никто бы не мог и подумать, что этот человек совсем еще недавно днем и ночью жил мыслью о побеге. По всему было видно, что он чувствует себя здесь, как дома. Будучи по природе человеком жизнерадостным, к нему снова вернулась живость характера и веселое добродушие. Синие глаза, в которых играли лукавые шайтанчики, смотрели теперь на мир

широко и радостно, в движениях сквозили мужская сила и спокойная уверенность.

С утра до вечера Индрис возился во дворе: колол дрова, засучив шаровары до колен, месил глину, предварительно сдобрив ее для устойчивости соломой и навозом, мазал крышу, ставил новые подпорки на веранде вместо прогнивших, убирал овчарню. Галбац, бодро загнув пушистый хвост и высунув влажный, красный, как арбузный ломоть, язык, с собачьей преданностью и неутомимостью повсюду, как тень, следовал за ним. Но чаще всего Индрис с лопатой или мотыгой в руках трудился на клочке земли, принадлежавшей Шапи, или копался в его маленьком саду, находящемся в окрестностях Ведено. В ауле давно привыкли к нему. Даже на годекане, где обычно собирались аульчане поговорить между собой, не косились на него, не удивлялись его появлению.

С того самого печального дня, когда Индрис, потрясенный горем старого Шапи, со скорбным молчанием подошел к нему и взял его руку в свои, проявил к его отцовскому горю такое неподдельное участие и сострадание, старик проникся добрым уважением к гяуру. Шапи теперь чуть ли не со страхом думал: что бы он делал, одинокий, беспомощный и больной старик, без него, Индриса? И в душе он благодарил судьбу за то, что она, хоть немного сжалившись над ним, послала ему такого преданного, честного, трудолюбивого работника и доброго человека.

Полный благодарности и доброжелательства, старый Шапи иногда в своих молитвах, рискуя

вызвать на себя недовольство аллаха, сурового и непреклонного ко всем неверным, выступал перед ним в роли заступника Индриса. Старик просил всевышнего сделать исключение для Индриса, не считать ему за грех то, что он родился гяуром, не упекать его грешной души в ад, а помочь ей на том свете благополучно перейти Сират⁴.

Если старик иногда по старой привычке и обзывал пленного русского «гяуром», то теперь это слово звучало не как брань, а как добродушное ворчание или мягкий укор, когда он, на его взгляд, в чем-нибудь сплеховал.

Но однажды старый горец не только устыдился своего мнения о Индрисе, как о хорошем человеке, своего заступничества за него Перед аллахом, но готов был с обнаженным кинжалом броситься на своего работника, как на опасного и вероломного врага.

...В светлую лунную майскую ночь семья сидела на веранде за ужином. Верный Галбац, как всегда в таких случаях, улегшись на брюхо у ног Индриса и вытянув вперед лапы, с ласковой преданностью глядел ему прямо в глаза, наклоняя голову то влево, то вправо. Свежий вечерний ветерок доносил со склонов гор и окрестных садов медовые ароматы весенних трав и цветов.

⁴ Сират — мифический мост. По учению корана души умерших должны переходить через специальный мост, который тоньше женского волоса, острее лезвия меча и горячее пламени. «Мост» этот находится в преддверии рая, над глубокой пропастью. Праведные легко πεηехολят этот мост и попадают в рай, а грешные — срываются и угоджают в преисподнюю.

В отблесках яркой луны чистое, продолговатое лицо Мадины с выразительными темно-кариими глазами, обрамленное гладкими блестящими волосами, намазанными бараньим жиром, казалось очень красивым и волнующим. Подобно зимней ледяной корке, сошедшей с ручья с наступлением весеннего тепла, с ее лица давно сошла угрюмая печать глубокой скорби, вызванная смертью мужа, ребенка, а затем и брата. Старик-отец, который сильно сдал за эти десять месяцев, прошедших после гибели сына, за последнее время нередко стал замечать улыбку на ее тонко очерченных порозовевших губах. В душе Шапи был рад этому перелому в настроении дочери, как бывают рады истомившиеся родители выздоровлению своего тяжело заболевшего ребенка.

Но в тот ясный лунный вечер за ужином старик, увидев улыбку на губах своей дочери, так и застыл с ложкой у рта. Сколько, ох, сколько загадочного, скрытого, порою совсем непостижимого таит, оказывается, в себе обычная улыбка на губах женщины! Глоток горячей жирной шурпы застрял в горле отца, словно горький комок. Ему пришлось сделать над собой невероятное усилие, чтоб не закричать, подавить жгучую злость, сохранить внешнее спокойствие и достоинство. Чтобы дочь и гяур (слово «гяур» он опять произнес, правда, не вслух, а про себя, с таким же ожесточением и неприязнью, как и раньше) не догадались о его состоянии, старик, сославшись на отсутствие аппетита, кинул ложку на скатерть, встал и медленной, неровной

походкой смертельно уставшего человека понуро вышел на улицу.

Тяжело опустившись на каменную завалинку, Шапи долго смотрел отсутствующим затуманенным взглядом на темно-синий полог вечернего звездного неба. Но он не видел сейчас ни неба, ни звезд. Перед его глазами неотвязно стояло, закрыв собой весь мир, освещенное яркой луной лицо дочери. Дочь с тихой, застенчивой улыбкой украдкой смотрела на гяура, а тот, скорчив умильную рожу и радостно сияя нагловатыми глазами, с мольбой и нежностью взирал на нее.

От настороженного внимания старика не ускользнуло и то, как под упрямым, бесстыжим взглядом его работника на щеках дочери вспыхнул румянец волнения и как она, стыдясь и боясь своих чувств, еще ниже склонила голову.

В груди Шапи бушевала буря. С острой болью и суеверным страхом в душе он думал о том, что его дочь влюблена — о ужас! о проклятие! — в гяура! До сегодняшнего дня он даже во сне не мог бы представить себе, что какой-то гяур, пленный, их слуга посмеет влюбиться в его дочь, в дочь хозяина, правоверного мусульманина, а она — о горе! — в него. У старика было такое ощущение, будто его жизнь, как арба без тормозов, безудержно покатилась с крутого спуска и вот-вот сорвется вместе с ним куда-то в черную бездну...

Старик прекрасно сознавал, что ему недолго, совсем недолго ходить по земле, а дочка останется одна, как одинокое дерево в открытом поле — ни брата, ни отца, ни матери. Ей надо обрести

семью, стать матерью, растить детей. А в ауле мало, очень мало мужчин, особенно молодых. Многих из них, как его зятя и сына, проглотила прожорливая ненасытная война... Кроме того, если и найдется человек, за которого можно выдать Мадину, разве тот согласится перейти на житье к тестю? Обычай суров: зять, если он дорожит достоинством и честью своей папахи, намусом, должен жить не у тестя, а у отца, в своем собственном доме. А тестю в свою очередь не подобает пристраиваться у чужого сына, хотя он и зять ему. Вай аллах, как же быть ему, старому, больному человеку, оставшемуся без сыновей, с одной единственной дочерью!?

А может, закрыв глаза на все, разрешить этому гяуру жениться на Мадине?.. Тогда никому никуда не надо уходить. Конечно, прежде чем женить этого Индриса, порази его молния, на дочери, он обяжет его перейти в ислам. А разве мало сейчас в горах русских из беглых солдат, которые приняли мусульманство и женаты на горянках?.. Ведь у самого имама Шамиля любимая жена — Шуанет — армянка, а его близкого друга и наиба Юнуса — Зейнаб — еврейка-мусульманка. Почему нельзя, чтоб его зять был русским-мусульманином?..

Но подобно ребенку, старательно воздвигающему игрушечные хоромы из песка и глины и одним капризным ударом ноги, разрушающему дотла все нехитрое свое сооружение, так «старый Шапи одним неумолимым и категорическим внутренним «нет» тут же беспощадно и окончательно отверг эту мысль.

Одно то, что в течение более полутора лет Индрис на виду у всего Веденского джамаата выполнял всякие женские работы: косил вручную хлеб, траву, носил тяжести, таскал воду из родника — роняло его в глазах у всех, как мужчину. Старый Шапи вознегодовал на самого себя за то, что ему пришла мысль — выдать дочь за гяура! И словно боясь, что Иблис⁵ может опять заронить в его душу сомнение, попытается искушать его, как Хаву в раю, он тут же дал себе клятву, что лучше пусть дочь всю жизнь будет горемычной вдовой, чем он ее увидит женой чужака с клеймом гяура...

...Три месяца спустя в жаркий августовский полдень во двор старого Шапи, неуверенно оглядываясь, тихо вошел, держа в руке маленький узелок, невысокий, но плотный горец с суровым взглядом глубоко посаженных черных маленьких глаз. Распаренное от жары красное лицо незнакомца было мокрым от обильного пота, который крупными светлыми горошинами падал со смуглого лба и катился по щекам, по запыленной, коротко стриженной густой черной бороде и усам. Темный бешмет и иссохшие морщинистые чарыки на нем тоже были покрыты серой, дорожной пылью.

Шапи в это время сидел задумчиво один на краю веранды лицом к солнцу, не обращая внимания на знойную жару, и острым концом тоненькой палки машинально ковырял землю в одном и том же месте.

⁵ И б л и с — дьявол.

— Ассалам алейкум! — остановившись возле старика, почтительно произнес незнакомец.

— Ваалейкум ассалам, — перестав ковырять палкой, очнувшись от своих дум, с любопытством оглядел Шапи незнакомца и, тотчас же встав, протянул ему руку.

— Не ты ли будешь дядя Шапи? — после короткого молчания неуверенно, извиняющимся голосом, тихо спросил мужчина.

— Я, — утвердительно мотнул головой старик. Незнакомец глубоко вздохнул и широко улыбнулся, показывая белые крупные зубы.

— Вот я и пришел по твоему вызову.

Он сорвал с начисто бритой головы мохнатую черную папаху и с наслаждением вытер ею потное лицо. Затем, усевшись на краю веранды, гость положил рядом с собой узелок. Короткими, толстыми, но проворными пальцами развязал его, словно желая удостовериться: все ли захватил с собой, что нужно. На раскрытом узелке лежали большая бритва с простой деревянной ручкой, кусок темной намасленной бечевки, немного золы, маленькая склянка с ореховым маслом, жир и прочее.

Незнакомец взял в руки бритву, раскрыл ее и, дохнув на блестящее лезвие, старательно вытер его о подол своего засаленного, пыльного бешмета.

— Я, дядя Шапи, привык делать все аккуратно, как полагается, а не как некоторые горе-мастера., — с самодовольными нотками в голосе проговорил он и, показывая глазами на раскрытый узелок, хвастливо добавил: — Видишь, я

предусмотрительно захватил с собой и кровоостанавливающие средства...

Шапи продолжал стоять на ногах, не проявляя сколько-нибудь заметного интереса ни к незнакомцу, ни к его «кровоостанавливающим средствам». Но тот приняв молчание старика за нежелание ввязаться в разговор, чтобы не оттягивать время, больше уже ради формы, чем для точности, спросил:

— А где мальчик?

Губы старика тронула едва приметная горькая, насмешливая улыбка.

— Какой там мальчик?.. — досадливо поморщился он, махнув рукой. Но, заметив удивление на лице гостя, тут же поправился: — Не мальчик он, а взрослый мужчина, гяур он, понял?.. Вставай, иди к нему, он ждет, — и Шапи указал рукой на открытую дверь в сакле.

Суннетчи послушно встал, быстро схватив узелок, направился к двери. Но, задержавшись у порога, он обернулся к Шапи, нерешительно спросил:

— А он, твой гяур, не станет лезть в драку?..

— Иди, иди кончай! — сердито проворчал старик, недовольно махнув на него рукой.

Суннетчи заколебался, потом, пригнув голову, решительно нырнул в дверной проем: старый Шапи прежде чем выдать свою дочь за Индриса, заставил его совершить над собой обряд обрезания — суннет, несмотря на то, что для него, перешедшего в ислам в зрелом возрасте, этот обряд был необязательным.

После того как Индрис стал зятем Шапи, старик запретил ему выполнять какие-либо женские работы и взвалил все это на плечи дочери. На десятый месяц после замужества у Мадины родилась дочь. Шапи ждал мальчика, чтоб дать ему имя одного из своих погибших сыновей. Но не слишком огорчился, когда ему сказали, что у него — внучка. Дед дал ей имя своей покойной жены Мариам.

С тех пор как Мадина вышла за Индриса, старик стал реже показываться на людях, почти не посещал годекан. Старый Шапи в душе все же стеснялся аульчан за то, что у него русский зять, хотя он и мусульманин и обрезанный по всем правилам мусульманского обряда.

Почти все свое время старик проводил теперь возле люльки внучки, разговаривая с ней вслух, как со взрослой.

Как-то зять и дочка, притаившись за дверью, решили из любопытства подслушать, о чем старик беседует с внучкой.

— А помнишь, Мариам, как тебя однажды забода ла корова и сломала ребро? — заглядывая в несмыш леные и удивленные глазки маленькой Мариам, уверенно «напоминал» дед, словно в люльке лежал не крошечный ребенок, а его покойная старуха. -Корова-то была у нас сумасшедшая. И мать у нее была такая же безумная. Не зря же говорится: «От сумасшедшей коровы рождается сумасшедший теленок». Не знаю как тебе, а мне кажется, беда эта стряслась с тобой в год гибели имама Кази-муллы, да упокой его душу

аллах, когда он в Гимринском ущелье выпрыгнул из осажденной солдатами высокой башни... А Шамиль, да сохранит его аллах, тоже прыгнул, да еще через головы целой толпы солдат, но спасся, хоть и получил сквозную рану штыком в грудь...

Старик вдруг внезапно умолк, наморщив лоб, и задумчиво почесал затылок. Потом, словно вспомнив что-то, виновато улыбнулся, обнажив беззубые десны.

— Нет, нет, не тогда это было. Только сейчас вспомнил... Ах, и память же у меня, — с досадой в голосе проговорил Шапи, потрянув головой. — Совсем дырявая стала. Что делать? Годы-то не те уже. Как бы сердцу ни молодиться, а телу не обновиться. Да и горя сколько мне пришлось хлебнуть на своем веку. А горе, сама знаешь, человека делает забывчи вым, иные от него, проклятого, даже ума лишаются. А я еще, как видишь, слава аллаху, держусь. Скриплю, крихчу, но держусь...

Дед опять умолк, задумался, силясь что-то вспомнить.

— О чем же я сейчас говорил с тобой? Ах, да, как тебя забодала корова...

Индрис, зажав рот ладонью, прыснул со смеху и боясь, что своим смехом может сконфузить и рассердить старика, выбежал в другую комнату, а Мадина осталась. А старик, все больше увлекаясь, говорил и говорил, пока ребенок своим резким плачем не отогнал от себя разболтавшегося деда.

— Валлах-биллах рехнулся наш старик совсем. Целый день без умолку бубнит возле уха ребенка, плетет всякий вздор, — жаловался Индрис жене.

Мадина, грустно улыбнувшись, посмотрела на мужа с мягким укором. Она понимала, что у старика нелегко на душе, хотя тот никогда не жаловался ей, чувствовала невольную вину перед отцом и страдала от этого. Поэтому она втайне радовалась тому, что старик сердцем привязался к внучке и в долгих, бесконечных разговорах с ней находит себе удовольствие и утешение.

Но и дед в свою очередь терпеть не мог, когда Индрис слишком бурно выражал свою радость, глядя на свою дочку. Он строго отчитывал зятя за то, что он, забывая о своем «мужском достоинстве», на виду у всего джамаата носит Мариам на руках, дочка не мальчик, и вгоняет его, старика, в краску.

Маленькая Мариам все больше становилась похожа лицом на мать, а глазами точь-в-точь на отца, такие же синие, ясные, веселые. Иногда Индрису чудилось, что это его собственные глаза смотрят на него с лица дочери. В такие минуты Индрис испытывал какое-то странное, но вместе с тем удивительно приятное и блаженное чувство, от которого терял голову, приходил в дикий восторг.

— Э-э-эх, Мар-рин-ка! Радость ты моя! — широко раскинув руки, самозабвенно кричал счастливый отец.

И старик с трудом сдерживал злое желание, чтобы не съездить по его блаженной физиономии.

— Цыц!.. — выходя из себя, кричал дед на зятя, сердито топая ногой. — Брось свои гяурские привычки!.. Никакого у тебя приличия нет!!!..

Однажды утром из канцелярии имама пришел чауч⁶ и велел Индрису последовать за ним. После его ухода отец и дочь сидели, как на иголках, теряясь в догадках, с нетерпением и волнением ожидая возвращения Индриса. Но не прошло и часу, как тот вернулся домой возбужденный, растерянный.

— Зачем тебя имам вызывал к себе? — едва зять переступил порог, озабоченно спросил старик.

— Письмо велел прочитать, написанное по-русски.

Из дальнейших слов Индриса тесть и жена узнали, что группа русских офицеров, находящихся под строжайшим надзором шамилевских стражников, получила письмо из русского лагеря, запеченное в хлебе. Об этом узнали лазутчики Шамиля и доставили его в канцелярию имама. Русский генерал, писавший это письмо, обещал пленным с помощью каких-то «верных и надежных людей» из числа горцев устроить побег. При этом генерал просил, до того как произойдет побег, воспользоваться каждым удобным случаем, чтоб выведать о действиях набов, о ближайших планах Шамиля...

— Имам был сильно разгневан, узнав о содержании письма,— заключил Индрис свое сообщение.

— Вот посмотришь, Шамиль прикажет отрубить всем им головы, — с одобрительными нотками в голосе проговорил старик.

⁶ Ч а у ч — посыльный при канцелярии.

— А может и нет, — неуверенно возразил Индрис. — Увеличит в два раза выкуп за голову каждого из них и этим дело кончится.

После случая с перехваченным письмом Индриса не раз еще вызывали в канцелярию имама. Эти вызовы высоко поднимали авторитет и достоинство русского зятя в глазах тестя. Старый Шапи совсем преобразился. Он заметно приободрился, повеселел и стал чересчур словоохотливым. Теперь он не мог усидеть дома. «Беседы» с внучкой больше не доставляли ему особенного удовольствия. По целым дням, а нередко и до позднего вечера дед пропадал на годекане. При разговоре с людьми он старался держаться прямо, отчего казался выше ростом и шире в плечах. О чем бы ни шла речь между аульчанами: о войне, о новых фирманах — указах Шамиля, о русских, о недавней трагической гибели храбрейшего наиба Хаджи-Мурата, о ценах на муку, на скот, — он считал своим долгом неизменно ввязаться в разговор. Подняв кверху черный, морщинистый палец с синим обломленным ногтем, как древко знамени, старик всегда к месту и ни к месту, с важным видом повторял одно и то же в конце своей речи, хвастаясь:

— Ведь кому же, как не мне знать лучше обо всем этом?!. Как никак мой зять Индрис, дай аллах ему долгие лета, не простой человек, а толмач имама!..

ГОЛОС СЕРДЦА

Было начало апреля 1855 года. В иные дни почти с утра и до вечера светило солнце. Его теплые, золотистые лучи ярко освещали лесистые склоны, безмолвные долины и пологие холмы, окружавшие Ведено. Голые еще деревья в садах и лесах с каждым днем наливались живительными соками, точно упругая грудь кормящей матери молоком, а почки на ветках сильно набухли, готовые каждую минуту распуститься... Разогретые солнцем, черные пашни и луга покрылись нежными всходами овимых и молодой шелковистой травой.

Первой вестницей наступившей весны для княгинь и их детей, неотлучно вот уже около восьми месяцев живших в неволе в доме имама, оказалась ласточка, вернувшаяся в свое гнездо. Оно, похожее на круглый бугристый комок серой глины, лепилось на наружной стене, под крышей над самым входом в комнату пленниц.

Первой заметила прилет ласточки юная восемнадцатилетняя княгиня Нина Баратова, девушка с веселым нравом и живым характером, родственница княгинь Анны и Варвары, которая вместе с ними была похищена горцами. Нина очень быстро сошлась с младшей женой Шамиля, смуглолицей, узкоглазой кистинкой Аминат,

такой же шустрой и по-детски шаловливой, как и она. Нина и Аминат были ровесницами и крепко дружили между собой.

Казначей Хаджи очень боялся юную княгиню. Шамиль вменил в его обязанность: будет ли имам дома или в войсках, чтобы Хаджи каждое утро являлся к княгиням и справлялся о их здоровье и здоровье их детей.

Но как только на пороге появлялся худой, несуразный Хаджи в своем засаленном старом бешмете, подпоясанный кушаком, с узловатой чалмой на голове, Нина сразу же оказывалась подле него и «нечаянно» дотрагивалась до него маленькой мраморно белой ручкой. Хаджи, брезгливо сморщив рябоватое лицо, багровел от гнева. Яростно отплевываясь, он быстро удалялся, чтобы скорее совершить омовение.

Пленницы в душе недолюбливали казначея. Они были твердо уверены, что это он, жадина и скряга, надоумил народный совет и самого Шамиля потребовать за них не только Джамалутдина, но и один миллион рублей. Только по этой причине князя Давид Чавчавадзе и Георгий Орбелиани — брат покойного мужа Варвары не могут до сих пор договориться с имамом о их вызволении. И Нина по-своему мстила Хаджи за это.

Аминат однажды по «секрету» шепнула Нине на ушко, что если она коснется рукой Хаджи, то казначей сразу же побежит совершать семь раз подряд омовение, чтобы очиститься от прикосновения нечестивой женщины-христианки. Сообщение юной жены имама сначала удивило и

оскорбило Нину, потом, поняв, почему Аминат «по секрету» поведала ей об этом, весело рассмеялась. В иные дни от «случайных» прикосновений этой «гяурской девушки» бедному Хаджи приходилось совершать эту однообразную, утомительную и очень неприятную в холодное время процедуру омовения по двадцать с лишним раз.

И Хаджи, как огня, избегал юную княгиню, стараясь не попадаться ей на глаза.

Рано утром, когда Нина вышла из комнаты на веранду в надежде встретить Аминат, она увидела над головой белогрудую чернокрылую ласточку. Птичка, уцепившись лапками за стенку гнезда, по-хозяйски деловито и внимательно осматривала его. При виде этой вольной птицы, прилетевшей из теплых краев вместе с весной, сердце девушки наполнилось буйной радостью. Она звонко хлопнула в ладоши, громко и весело крикнула. Пленницы всполошились, решив, что приехал кто-нибудь от родных с вестью. Взмолвленные и обрадованные, они высыпали на веранду.

Первым выбежал Маленький сын Анны Александр худой с бледным, заострившимся личиком, на котором светились огромные черные не по-детски серьезные и грустные глаза. Мальчик все время болел, усиливая этим тревогу и душевное страдание бедной матери. У нее было трое дочек, а он — один единственный мальчик. Один ее ребенок, самый маленький, погиб в дороге в Ведено.

Шамиль проявлял к маленькому Искендеру, как он его называл, отеческую ласку и всегда заботился о нем. Когда Шамиль садился кушать,

по его требованию мальчика часто приводили к нему. Имам сажал его рядом с собой за скатерть и собственноручно угощал. Когда Александр уходил, Шамиль нагружал его конфетами, сладостями и, погладив по головке, отпускал. Болезненный вид мальчика огорчал его. По указанию Шамиля, не раз вызывали врачей, которые осматривали мальчика, лечили его, как могли.

Да и сами княгини за время плена изменились до неузнаваемости, выглядели очень усталыми и намного старше своих лет. В иные дни Анна, которую горе и отчаяние подточили сильнее других, бывала даже не в состоянии подняться на ноги.

Пленницы и дети, узнав о причине восторга Нины, были разочарованы, но не очень. Возвращение вестницы весны в свое гнездо над самой дверью их комнаты они истолковали как счастливое предзнаменование.

Вид деловито хлопчущей пташки у своего пустовавшего гнезда невольно воскресил в памяти Анны ее приезд на лето из жаркого и душного, хотя и прекрасного Тифлиса, в родное имение мужа — князя Давида Цинандаль, среди цветущих садов и виноградников, в живописной долине быстроводной реки Алазань. В ее ушах будто из далекого волшебного царства зазвучали слова песни, сочиненной поэтом, которую друзья мужа любили петь за пиршественным столом.

Алазань, луга и скалы,
Блеск лазури, чудный вид.
А направо Цинандали,
Где блаженствует Давид.

Князь почётный и любимый,
В сонме доблестных князей,
Мчись, мой конь неутомимый,
В сей волшебный Элизей...

Слезы жгли глаза Анны, но она, точно зачарованная, не сводила их с крохотного гнезда свободной птицы, удобно и довольно укрывшейся в нем и зажегшей в ее измученном сердце счастливую надежду на скорое возвращение на родину, в свое разоренное гнездо.

Переговоры об обмене пленниц затянулись только потому, что Шамиль, поддаваясь настойчивому давлению со стороны народного совета, продолжал настаивать, чтобы в обмен за пленниц возвратили не только сына, но и уплатили один миллион рублей. В своих письмах муж Анны полковник князь Давид Чавчавадзе и брат покойного мужа Варвары генерал Георгий Орбелиани старались убедить имама в том, что при всем их желании и старании они не могут, не в состоянии внести даже одну пятую часть этой суммы. Шамиль тоже понимал это. Сам он не желал ничего, кроме возвращения ему Джамалутдина. Но действовать наперекор единодушному и твердому решению совета он не решался.

Индрис, который вот уже третий год числился официальным толмачом при канцелярии имама, был в курсе почти всех переговоров и переписки имама с князьями Чавчавадзе и Орбелиани с Шамилем и княгинями.

Однажды утром в комнату пленниц без стука и предупреждения поспешно вошли Хаджи, Индрис, Шуанет и Аминат.

— Княгини! Поздравляем вас, вы свободны!
— прямо с порога громко и радостно сообщила Шуанет.

И она тут же бросилась обнимать сначала Анну, потом Варвару. А юная жена Шамиля кистинка Аминат с полными слез глазами кинулась на шею Нины: ей было радостно, что Нина теперь свободна, и в то же время жаль с нею расставаться.

Княгини, окруженные детьми, от неожиданно-го счастья стояли взволнованные, растерянные, не веря своим ушам.

— Да, княгини, наш великий имам велел передать вам, что вы свободны и завтра же встретитесь со своими — поглаживая ус широкой ладонью и весело блестя глазами, торжественно произнес толмач.

Один только Хаджи молчал с сосредоточенным и утрюмым выражением на бледном рябоватом лице. Будучи по натуре человеком незлобным и даже добрым, он в душе сочувствовал страданиям пленниц. Но его, как хранителя казны имамата, лучше других знающего и понимающего цену деньгам для маленькой бедной страны, воюющей против такой сильной державы, как Россия, искренне огорчало то, что Шамиль все-таки не послушал ни его, ни дивана, а поступил по-своему, согласился на дешевый выкуп — сорок тысяч рублей...

Только один единственный раз Хаджи позволил себе подать голос и даже улыбнуться, когда он с некоторым беспокойством заметил, как кистинка, у которой глаза были еще влажны от слез, что-то заговорщицки шепчет на ухо улыбающейся-

ся Нины, которая исподлобья уже целится в него карими озорно блестящими глазами.

— Ну, ну!..— подняв палец кверху, строго, но без обиды и гнева, предостерегающе воскликнул казначей, поняв ее «коварное» намерение. — Хватит вам дурачиться!

Девушки, поняв что их умысел разгадан, прыснули, но не решились на прощание причинять Хаджи огорчения.

На улице пленниц ожидало четыре арбы, запряженные лошадьми. По бокам и внутри арбы были разостланы ковры.

Женщин вывели на улицу в черных вуалях, закрывавших их лица. В первые две арбы посадили княгинь с детьми, в другие две — их родственниц, служанок и слуг — всего двадцать два человека.

За поездом княгинь следовал большой вооруженный конвой из отборных мюридов во главе с сыновьями имама, двадцатидвухлетним наибом каратинским и наследником Шамиля, сутулым, некрасивым, короткошеим, но безрассудно храбрым Кази-Магомедом, о котором поговаривали, что «когда он вступает в бой, ум прячет в карман», и высоким шустрым подростком четырнадцатилетним Магомед-Шапи. Позади сыновей имама ехал Индрис. За конвоем, на значительном расстоянии от него — сам Шамиль на белом коне, одетый в белую черкеску, в сопровождении отца жены Кази-Магомеда Даниел-Султана, полного, краснолицего мужчины лет пятидесяти, личного друга имама на-иба — Юнуса и казначея Хаджи, который бережно держал перед собой на седле небольшой узел.

Еще недели три тому назад посланник князей Давида и Георгия юнкер Исаак Грамов, служивший переводчиком при штабе Кавказского экспедиционного корпуса, привез из Владикавказа Шамилю письмо от сына. Шамиль хорошо знал Грамова. Тот не раз, пренебрегая личной безопасностью, один без сопровождающих пробирался к нему в горы для переговоров, выполняя поручения князей Чавчавадзе и Орбелиани, которым он был очень предан. Шамиль благоволил к этому молодому смуглолицему армянину, приятному собеседнику и смелому человеку. В поведении Грамова, в его откровенных суждениях и разговорах имам чувствовал не только проявление искреннего участия к судьбе пленных княгинь, но и глубокое уважение и почтение к нему, предводителю горцев. В беседах с юнкером, которые он вел на понятном для обоих кумыкском языке, Шамиль почтительно называл его «мой Исаакбек», а иногда просто дружески ласково «сын мой», хотя знал, что Исаак не только преданный офицер русской армии, но и христианин.

Получив письмо, Шамиль до того был обрадован, что щедро наградил Грамова. Сверх того, подарил ему белого скакуна и с почетом отправил назад.

Хотя Шамиль уже знал о содержании письма сына к нему, несмотря на это, после отъезда Грамова вызвал к себе своего толмача Индриса и велел ему еще и еще раз перечитать письмо от Джамалутдина. Джамалутдин в самом смиренном и почтительном тоне писал отцу, что он, выпол-

няя сыновнюю обязанность по отношению к нему и волю государя-императора, с готовностью выезжает на родину...

Шамиль знал, чувствовал, что сын не испытывает особой радости, возвращаясь в горы, и что ему, наверное, грустно, а может даже тяжело на душе от этого. Отец прекрасно понимал, что его первенцу, выросшему и воспитанному совсем в иных условиях, в иной обстановке, не знающему родного языка и влюбленному в русскую красавицу, будет трудно, очень трудно. И он в душе благодарил сына за эту жертву и в то же время жалел его.

Отослав толмача обратно, Шамиль с письмом в руке пришел в комнату Шуанет. Он довольно, с едва уловимой грустью, сказал ей:

— Знаешь, я очень рад, что ты не совсем разучилась говорить по-русски. Занимайся Джамалутдином, когда он приедет. Я поручаю его тебе.

...По дороге к русскому лагерю мюриды джигитовали, обскакивали друг друга, соревновались на полном скаку в меткости, в стрельбе, подбрасывая в воздух какой-нибудь предмет, или стреляли в перелетающих птиц и громко пели: «ля иллахи-иляллах...»

К вечеру путники прибыли в небольшой аул Маюр-Туп — последний аул во владениях имамата у русской границы. Здесь они остановились на ночлег.

Шамиль не спал всю ночь в ожидании утра. Он почти до рассвета не отпускал от себя Грамова, приехавшего к нему из русского лагеря, чтобы договориться с ним о церемонии обмена.

Хотя это заняло всего лишь несколько минут, но Шамиль попросил «Исаак-бека» остаться у него, коротать ночь за беседой. Юнкер, пользуясь случаем сделать имаму приятное, охотно согласился на его предложение.

Во время беседы имам как бы между прочим спросил Грамова:

— Как идет война в Крыму?

— С попеременным успехом, без каких-либо серьезных изменений, — почтительно ответил Грамов.

Шамиль усмехнулся в рыжую, выкрашенную хной, длинную бороду.

— Хм, три царя воюют за один город и не могут взять его у русских⁷, — удивленно покачал он головой и тут же с гордостью добавил: — А русские вот уже двадцать пять лет не могут одолеть нас, наши горы и леса.

Когда разговор зашел о недавней кончине Николая, по которому все военнослужащие царской армии, в том числе и Грамов, носили черные ленты на груди в знак траура, Шамиль поднял голову и, прищурившись, долго и задумчиво смотрел на тлеющий в очаге огонь, возле которого они сидели на разостланных коврах, скрестив под себя ноги.

— Все люди, сын мой, смертны. «Прах ты и в прах возвратишься», — сказал аллах Адаму — прародителю человеческого рода, — назидательно проговорил Шамиль, не сводя задумчивого взора с очага.

⁷ Имеется в виду англо-франко-турецкая война с Россией.

Имам не сказал, что даже такие высочайшие особы, как августейший император — смертны, а намеренно подчеркнул — «все люди», не выделяя царя Николая из числа прочих смертных, назвав его прахом.

Даже такой умный и рассудительный человек, как Грамов, так и не смог разобраться, как следует истолковать приведенные слова имама — то ли как проявление им скрытого торжества по поводу смерти царя Николая, то ли как сочувствие по поводу его кончины...

Не спали в эту ночь и княгини с детьми, а по ту сторону пограничного аула Маюр-Туп, за рекой Мичик, скрытой в ночном мраке, — Джамалутдин и князь Чавчавадзе.

Князь Давид за время сравнительно кроткого знакомства с Джамалутдином (последние две недели они жили в Хасавюрте в одной комнате) не только полюбил его, но и проникся к нему глубоким уважением. Все в этом тонком, подтянутом, изящном молодом белокуром поручике с карими прищуренными, как у отца, глазами: и приятная наружность, и сдержанные манеры, и какое-то внутреннее благородство, и доброжелательство располагали к нему, вызывая искреннюю симпатию князя.

Чавчавадзе, который был старше своего нового молодого друга лет на пятнадцать, удивляли его трезвые суждения по многим вопросам современной жизни. Будущее своей родины — Дагестана он видел не с деспотической султанской Турцией и шахским Ираном, косневших в дебрях сред-

невековья, а с развивающейся экономически и культурно Россией.

Полковник знал, что Джамалутдин готовился поступить в Военную Академию, оставил в Петербурге любимую девушку, добровольно пожертвовал всем: и личным счастьем, и своим будущим, и карьерой, чтобы прежде всего спасти беззащитных княгинь и их детей от неволи, и в то же время угодить отцу. При этом он не рисовался перед князем, не изображал из себя жертву или благодетеля, держался просто и естественно. Только где-то в глубине его карих сощуренных глаз можно было прочесть затаенную печаль.

На следующий день утро выдалось ясным, солнечным. Легким прозрачным дымком курились леса и поля, а трава под ногами отливала сединой от обильной холодной росы. Впереди за пограничным аулом Маюр-Туп лежала довольно обширная зеленая равнина, по которой блестя, как рыба чешуей, извивалась неглубокая река Мичик. Вскоре на большом отлогом холме за поляной стали показываться русские войска.

Сыновья Шамиля Кази-Магомед и Магомед-Шапи во главе с тридцатью пятью отборными мюридами вместе с Грамовым и толмачом Индрисом последовали за арбами, в которых сидели пленницы. Отъехав на четверть версты от аула и перебравшись через реку, они остановились.

Грамов быстро ускакал к русскому отряду, а Кази-Магомед тем временем, подав знак толмачу последовать за ним, подъехал к княгиням. Приветливо кивнув им, он сказал своей обычной

скороговоркой: — Имам поручил мне просить вас, княгини, не хранить дурного воспоминания о том времени, которое вы провели в его доме. Он велел передать, что если вы и испытывали какие-либо неприятности, то это происходило не из желания причинить вам огорчения или обиду; а из неумения содержать вас или обходиться с вами подобающим вашему происхождению и воспитанию образом...

Толмач Индрис слово в слово перевел сказанное Кази-Магомедом, затем с грустной, мягкой улыбкой на лице, добавил от себя.

— Ваши светлости, не поминайте нас лихом. Будь те счастливы!

Княгини настолько были сейчас взволнованы, что не могли выговорить ни слова, лишь кивнули головами, вытирая влажные глаза.

Через несколько минут со стороны русских отделилась группа солдат тоже из тридцати пяти человек и стала продвигаться к условленному месту. Впереди группы ехали князь Давид Чавчавадзе, Джамалутдин, Грамов и еще два русских офицера. Справа от них, одна за другой следовали две повозки с сорока тысячью рублями серебром.

Дети князя Давида первыми различили среди подъезжающих к ним офицеров во главе отряда русских солдат своего отца.

— Ма-ма! Ма-ма! Во-о-он папа едет, папа едет! — хором закричали ликующие дети, радостно прыгая и хлопая в ладоши.

...Сопровождаемый братом, толмачом, Грамовым и двумя русскими офицерами, Джамалутдин

направился к отцу. Но на полдороге его остановил казначей Хаджи, который держал в руке узелок с богато расшитой горской одеждой.

— Отец хочет видеть тебя не в мундире русского офицера, а в одежде твоей родины, — строго, но почтительно произнес Хаджи, — подавая ему узелок.

Старый имам в ожидании сына сидел на траве, под старым, но еще крепким, как он сам, раскидистым дубом. Недалеко от него стоял пятитысячный отряд мюридов. Перед ним была установлена подзорная труба на треножке. Иногда Шамиль поднимался на колени и подолгу смотрел в подзорную трубу в сторону русского лагеря.

Увидев отца, сидевшего под деревом, Джамалутдин и его спутники спешили. Сердце его сильно забилося, а в голове появился какой-то туман. Он шел, чувствуя себя как в запутанном пестром сне. Подойдя к отцу, Джамалутдин опустился на левое колено, хотел поцеловать его руку, но Шамиль быстро схватил сына в свои объятия, прижал к груди. Слезы струями показались по щекам и бороде имама... Откуда было знать счастливому отцу в эту счастливую Минуту, которую он ждал пятнадцать долгих лет и дождался, наконец, что пройдет всего лишь два года и он, окаменев от горя, будет оплакивать сына, умершего не от полученной раны на войне, а от сердечной раны, от неизлечимой тоски по любимой, от тоски, вогнавшей его в чахотку.

Толмач не видел всю эту драматическую сцену встречи имама с сыном. Его в этот момент занима-

ли иные думы, иные чувства. Он стоял на зеленом пригорке, значительно удаленном от того места, где сидел Шамиль, рядом со своим конем и как зачарованный вслушивался в знакомые, за душу хватающие слова и мотив раздольной русской песни о Волге-матушке реке.

Она, эта песня, подхваченная десятками сильных голосов, мощно и звонко плыла над обширной зеленой поляной, на которой дымились солдатские костры на бивуаке, и неудержимо уносила Индриса, как на крыльях, далеко-далеко, наполняя его сердце трепетным волнением.

Вся жизнь толмача промелькнула сейчас перед его глазами. Он как наяву увидел свою деревню на берегу великой русской реки, широко и спокойно текущей между извилистыми, живописными берегами, родные поля и луга, задумчивый лес за деревней с белыми кудрявыми березами, молчаливыми мохнатыми елями и стройными гордыми соснами, обонял его волнующие запахи. Вспомнил, как мальчиком с хворостинкой в руке пас гусей на зеленом лугу у реки, деревянную церковку с малиновым колокольным звоном, в день по несколько раз будоражившим тихий окрест, отчий дом с почерневшей от дождей и зимних снегов соломенной крышей... Вспомнил мать, которая умерла, когда он еще был мальчиком, ее доброе и всегда чем-то озабоченное лицо, ее по-мужски грубые, натруженные, но удивительно ласковые и нежные руки. Они, эти материнские руки, были для него и талисманом, отгонявшим от маленького Андрея страхи и напасти, и вол-

шебным лекарством, исцелявшим от всяких недугов. Без ласкового прикосновения этих рук он не мог спать, особенно в зимние метельные ночи, когда в печной трубе, пугая его голодным и сердитым волком, выла вьюга.

А песня, которую пели солдаты по ту сторону Мичика, все нарастала, вызывая все больше и дольше воспоминаний в душе Индриса, заполняя его сердце горячей волной и застилая глаза слезами.

Вдруг Индрис, подталкиваемый изнутри, Какой-то внезапной неподвластной ему силой, стремительно вскочил на коня, чтобы лететь туда, откуда неслась эта колдовская песня. Но в тот самый миг, когда он хотел вонзить шпоры в бока лошади, чтобы пуститься вскачь, ему почудился зовущий, тревожный голос маленькой Маринки:

— Да-да-а-а!⁸

Индрис встрепнулся. Ему показалось, что Маринка стоит за его спиной и ждет, притягивая отца, точно магнитом, к себе. И он всем существом, всем нутром своим почувствовал сейчас, что без нее, без дочери, в маленькой груди которой бьется его сердце, и с чистого нежного детского личика которой смотрят на мир его глаза, он не сможет жить...

И толмач имама, глотая соленую слезу, с силой рванул на себя повод и круто повернул лошадь назад...

* Д а д а — отец, папа.

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ



КАК МУЗА СТАЛА МАРУСЕЙ

У меня есть друг. И зовут его, моего друга... Хм... Нет не буду называть его имени. Слишком уж трагикомична история, которая приключилась с ним и о которой я хочу поведать вам в этом рассказе. Назову я его просто Исрапилом — какая вам разница.

Этот самый Исрапил, мой друг — поэт. Несмотря на это, человек он весьма степенный и уравновешенный, как две чаши весов у честного продавца. Но как и все поэты Исрапил в душе немного восторженный и, конечно, влюбленный. Не зря ведь у нас слово «ашуг» означает «влюбленный».

Правда, внешность моего друга мало чем напоминает внешний облик стандартного влюбленного, каким мы привыкли представлять его себе. Он далеко не юноша. На висках поблескивает седина, на макушке почтенная... плешина. Что поделаешь: как не хитри, не изворачивайся, возраст берет свое. Но как бы там ни было, Исрапил действительно влюбленный. Недаром же сказал поэт: «Любви все возрасты покорны».

Но любовь моего друга более емкая и возвышенная. Он влюблен в мир, в небо, в солнце, в

звезды и, конечно, больше всего в людей. (Но во избежание недоразумений, прошу вас под обобщающим словом «людей» подразумевать не только женщин, но и нас, грубых, неотесанных мужчин).

Но вернемся к моему другу.

И вот мой друг Исрапил решил провести своей творческий отпуск в одном из маленьких и очень отдаленных высокогорных аулов, который стоит ближе к небу, чем к земле.

Я был в этом ауле. В ясный безоблачный день отсюда, как на ладони, видна бескрайняя и величественная панорама родных гор, окутанных сиреневой дымкой. Гордые орлы парят на одном уровне с человеком. И ты, глядя на них, вдруг тоже начинаешь чувствовать за спиной крылья, какую-то необыкновенную легкость во всем теле и неудержимую потребность взлететь в атмосферу и кружиться в небе в одной компании с ними. Это днем. А ночью!.. Ночью здесь звезды до того яркие и небо — близкое, кажется, протяни руку и ты легко, без труда сорвешь их одну за другой, как спелые вишни с отяжелевших веток, опустившихся веером над самой твоей головой. Одним словом, вся обстановка здесь очень способствует полету фантазии.

Теперь, я думаю, вы хоть немного в курсе, почему мой друг для проведения своего творческого отпуска избрал именно этот аул. Тем более в этом ауле несколько лет тому назад колхозники по собственной инициативе и общими усилиями построили для себя на склоне сосновой горы возле целебного источника Дом отдыха.

В тот же день, когда мой друг, полный творческих замыслов и радужных надежд, полетел на самолете в этот самый аул, что ближе к небу, чем к земле, я вслед за ним отправил письмо на имя председателя сельсовета.

Ах, если б я знал, какую злую шутку сыграет с ним это письмо! Я скорее позволил бы себе отрубить палец, чем послать его туда. До сих пор я каюсь, что сделал это. Но письмо, должен сказать, было простое, безобидное, разве только то, что писал я его в шутливом тоне. Что делать, если не все понимают шутку.

Единственным моим желанием, когда я писал это письмо, было, чтобы моему другу оказали подобающее внимание. И больше ничего.

В письме я указывал, что мой друг Исрапил, пожелай он только, мог бы провести свой творческий отпуск на знаменитом Рижском взморье или на золотых песках Ялты, в живописных Гаграх, где витает дух прекрасной царицы Тамары, или на заграничном, всемирно-известном курорте Карловы Вары.

В заключение я просил главу местной власти оказать моему другу хороший прием, выделить ему отдельную комнату, дружески упомянул, чтобы он уведомил нас: посещает ли его Муза, эта капризная, своенравная, но прекрасная особа. Если посещает, то в какое время дня и ночи? Какие у него взаимоотношения с этой самой Музой: сердечные или холодные? и т. п.

Я, конечно, не ждал никакого ответа на свое дружески шутливое послание и как будто успел

даже позабыть о нем, когда неделю спустя неожиданно получил от председателя местного совета того самого аула, что ближе к небу, чем к земле, длинное и подробное письмо, которое я полностью привожу здесь:

«Ассалам алейкум, тов. (следует моя фамилия). Вы, пожалуйста, не обижайтесь, если я сообщу вам о том, что никакого такого приёма или почестей я вашему поэту не оказал, поскольку расходы на такие мероприятия по бюджету сельского совета не предусмотрены. Но вы, товарищ (следует фамилия), не беспокойтесь особенно за своего товарища. Поверьте моему слову, ему будет житься у нас не хуже, чем на курорте царины Тамары или господина Карла-Варла. Ему выделена отдельная комната. Он обеспечен питанием высшего сорта.

А что касается этой самой женщины по имени Муза, я сразу же по получении вашего письма хотел ответить вам, что женщина с таким именем у нас в ауле не проживает. Но поскольку сигнал серьезный, можно прямо сказать, тревожный — под угрозой находится целость и сохранность семьи, думаю, одним таким разговором нельзя от этого отмахиваться, как от мухи. И я сначала решил было попросить вас, чтобы вы, товарищ (следует фамилия), сообщили мне, какая она из себя, эта вертихвостка, которая, извините за выражение, совращает женатых мужчин, как вдруг меня осенило: ведь это же — Маруся! И действительно, есть у нас такая девушка-фармацевтка. Ее прислали к нам из Махачкалы, зав. сельской аптекой работает. Больным по рецепту лекарс-

тва разные выдает. Вы, тов. (следует фамилия), немного ошиблись в точности прописания ее имени.

Девушки-подруги обычно называют её не так, как вы пишете — Музой, а Мусей. Ничего, ошибка невелика. И как вспомнил, аж удивился: как сразу мне в голову не пришло это?! О том, что это точно она, на этот счет у меня никакого сомнения не возникает. Иначе, с чего бы она больше всех хлопотала, чтобы мы организовали встречу с твоим другом, и первая, кажется, разнюхала о его приезде.

Или взять другой факт из ее поведения, который утверждает меня в моей мысли.

Недавно у нас в клубе показывали заграничный фильм. Молодой мужчина и полураздетая чужая женщина так целовались, казалось, вот-вот сейчас проглотят друг друга. Я не стерпел такого безобразия, вскочил с места, повернулся к киномеханику и громко приказал: «Останови!.. Запрещаю, говорю, показывать такую безнравственность!..»

А как же иначе? Разве можно на виду у всего джамаата так безобразничать, точно обезьяны? После таких фильмов даже меня, человека уже немолодого, против моей собственной воли, по ночам посещают легкомысленные сны. А что уж говорить о людях помоложе?

Многие подняли ай-уй, начали шуметь, выражать недовольство: вроде, как, мол, это так, деньги заплатили, а досматривать картину до конца не разрешают! Больше всех и громче всех

возмущалась и протестовала эта самая Муся-Маруся.

А через три дня, смотрю и глазам своим не верю — в газете заметка: «Унтер-офицер Пришибеев в роли председателя сельсовета». Это покритиковали меня за то, что я сорвал тот самый безобразный фильм, так сказать, «культурное» мероприятие. А под заметкой стоит подпись этой самой Муси-Маруси, будь она трижды проклята.

Редактор тоже хорош — нечего сказать. Вместо того, чтобы поддержать мои правильные действия, направленные против безнравственности, позволил этой глупой и бессовестной девчонке сравнить меня с каким-то унтером... и пустить на меня критику...

Ну, не хочу задерживать ваше внимание на этом безобразном факте, послушайте дальше о вашем друге.

Я несколько раз заходил, будто невзначай, к нему, но к нашему с вами огорчению, должен сообщить вам, не застал у него Муси-Маруси.

А позавчера я нарочно зашел к нему очень поздно, примерно в час ночи. Он сидел и что-то пописывал или сочинял — не знаю.

— Вижу, у вас свет горит, дай-ка, думаю, зайду на огонек, — сказал я ему извиняющимся тоном, оправдывая таким образом свой поздний визит, а сам подозрительно оглядываю углы комнаты. Потом нагибаюсь, вроде, чтобы завязать шнурок на ботинке, и одним глазом смотрю под кровать — пусто. На этом, конечно, я не успокаиваюсь.

Подхожу к шкафу, стоявшему у стены, и быстро открываю дверцы.

— Что вы там ищете? — спросил меня ваш друг, обеспокоенный.

— Ничего особенного, — отвечаю. — Смотрю, говорю, не водятся ли у тебя здесь в шкафу мыши, клопы и прочие паразиты.

— Нет, не водятся пока, говорит, а сам на меня смотрит так, будто хочет узнать: догадываюсь я или нет о его сердечных отношениях с Мусей-Марусей — хитрый какой!

Но вы, тов. (опять следует фамилия), не беспокойтесь: я за эти два-три дня обязательно решу все. Я человек настойчивый до упрямства. Если мне не удастся все-таки застать их наедине, то я, будьте покойны, предприму другие меры: не допущу, чтобы по вине какой-то Муси-Маруси разрушалась хорошая советская семья...»

Письмо председателя сельсовета из аула, что ближе к небу, чем к земле, меня больше рассмешило, чем озадачило. Я, конечно, не придал никакого значения его угрозам, думая, что поскольку Муза — это не юный фармацевт из аула, что ближе к небу, чем к земле, а мифологическая личность, богиня поэзии и искусства, поэтому, чтобы не предпринял против Муси-Маруси председатель сельсовета, обиженный ее критикой, ничего у него не получится: в конце-концов, думал я, махнет рукой на это и все на этом закончится.

Но я, оказывается, жестоко ошибся. На четвертый день после получения письма из аула, что ближе к небу, чем к земле, я как-то шел по ули-

це и вдруг, как говорится, носом к носу чуть не столкнулся с моим другом Исрапилом. Он шел, низко опустив голову и всплескивая руками, разговаривал сам с собой, чего я раньше никогда не наблюдал за ним. Он был явно чем-то удручен, а между пальцами дымила папироса, хотя мой друг уже три года как бросил курить по совету врача.

Насколько я знаю, Исрапил пробыл в Доме отдыха всего двенадцать дней, а он намеревался провести там целый месяц.

Я сразу налетел на него, схватил его в объятия и, с беспокойством вглядываясь в его мрачное, расстроенное лицо, спросил:

— Исрапил дорогой, чего ты раньше времени вернулся?... Да и вообще, почему у тебя такой расстроенный, злой вид?

— Как же не злиться, не расстраиваться!?. — он сердито нахмурил брови, бросил резким движением недокуренную папиросу на землю и, сплюнув, с сердцем придавил ее подошвой туфля. — Понимаешь, какой-то идиот сообщил моей жене, будто я специально поехал в тот аул, чтобы заводить шашни с какой-то Мусей-Марусей. И жена прилетела за мной, учинила скандал и заставила собрать чемодан и немедленно вернуться домой... Вот какая неприятная история!..

Мне сразу все стало ясно. И как мне не было обидно, досадно и грустно за друга — бывает же так, — смех начал разбирать меня так, будто меня кто-то внутри начал щекотать. С невероятным усилием я подавил смех, но коварную улыбку так и не смог согнать со своего лица.

— Может, все-таки было у тебя что-то с этой, как ее, Мусей-Марусей? — нарочно, с дружеским укором спросил я его, еле сдерживая себя, чтоб не рассмеяться.

— И ты что ли с ума сошел?! — не на шутку обиделся мой друг. И тут же горячо добавил: «Я не только не знаю ее, но клянусь вам, даже в глаза ни разу ее не видел. А жена не верит...»

Вот теперь вы, наверное, поняли, друзья, почему я решил держать имя моего друга в секрете.



СОСЕД МОЙ — ВРАГ МОЙ

Ассалам алейкум, товарищ редактор! Умоляю Вас, напечатайте о моем соседе Сары-Самаде⁹, который проживает в селении Узун-Бурни¹⁰ напротив водяной мельницы (да чтоб он угодил своей рыжей головой под ее жернова), один острый фильетун. Хотя и говорят, что близкий сосед лучше далекого брата, а вот мой сосед Сары-Самад — злой враг мне, и сам не знаю почему. Он до того надоел, замучил меня, что если можно было бы уложить все свое хозяйство: дом, двор, сад, скотину вместе с женой в одну торбу, валлах, ни одной минуты не остался бы жить с ним рядом. Взвалил бы все это себе на плечи и, несмотря на мои пятьдесят восемь лет, бежал бы отсюда без оглядки, как от землетрясения. Что же делать, если он такой невыносимый человек.

Жить с ним по-соседству, клянусь Вам, нисколько не лучше, чем очутиться на дне глубокого колодца один на один с шахмаром¹¹, да чтоб шахмар ужалил его ядовитый язык.

⁹ Сары — рыжий.

¹⁰ Узун-Бурни — Длинный нос.

¹¹ Шахмар — одна из разновидностей ядовитых змей.

Мне говорили, что раз пишешь в газету — давай факты. А фактов у меня против Сары-Самада хватило бы на целый чувал¹²! Но я приведу только несколько из них. «Веревка хороша длинная, а речь — короткая».

Начну хотя бы с того, что он, мой сосед, ходит по селу и распространяет обо мне гнусные хабары, будто я нарочно огородил свой двор и сад каменным забором из-за ревности к своей молодой жене и что прячу ее от любопытных взоров, как купец свою мошну, зная, мол: женитьба старика — кейф¹³ для молодых.

Как поворачивается у него язык сказать обо мне такое, если моя жена почти каждый день на виду у тысячи людей торгует в городе на рынке ягодами и фруктами из моего сада. А когда она не успевает за день продать привезенное, даже остается ночевать там у какого-то своего дальнего родственника.

Со своей старухой я принужден был развестись, взять новую жену, потому что от моей прежней жены не было ни толку, ни проку ни мне лично, ни нашему хозяйству. Женщина она хилая, слабая, к тому же бесплодная. Кроме того, иного легче снарядить на Луну, чем заставить было ее отправиться на рынок в город, хотя от города до нашего Узун-Бурни рукой подать.

Не отрицаю, я, действительно, огородил свой двор и сад, чтобы не вводить в соблазн посторон-

¹² Ч у а л — большой просторный мешок из паласов для сыпки зерна.

¹³ К е й ф — веселье, удовольствие.

них: «глаз не увидит — сердце не захочет». Жена моя, скажу я вам, тут совсем не при чем. У меня, чтобы не сглазить, самый красивый и самый богатый сад в селе. Поэтому все, кому не лень, тащились ко мне в сад любоваться им, а главное — полакомиться фруктами, как будто это джамаатский¹⁴ или колхозный сад, где можно, не платя ни гроша, наесться вдоволь и насорить. А это все равно, что лезть ложкой в чужую кастрюлю. А ведь капля к капле образует ручеек, копейка к копейке — рубль, а ягодка к ягодке — кучку. А жена моя за каждую кучку берет на рынке с покупателя рубль, а то и подороже. Зачем я должен терять лишние рубли? Они с неба не валятся.

Потом, если разобраться, женщину в тридцать лет; разве можно считать молодой?.. В былые времена многие женщины в нашем селении в возрасте моей жены ходили в бабушках. и он, мой сосед, выдает ее за молодую — лишь бы наговорить на меня. Как видите, Сары-Самад бессовестно клеветает на меня, невинного человека.

Наберитесь, пожалуйста, терпения, послушайте дальше...

Недавно он, мой сосед, обозвал меня сорняком. Да еще при всей бригаде. Он так и сказал: «Ты, говорит, Гамбар, зловредный сорняк в дружном всходе колхозного посева, не мешало бы, мол, химической прополкой и мощным, как его, культиватором уничтожить сорные растения на полях твоего сознания...»

Да чтобы этот самый культиватор прошелся

¹⁴ Д ж а м а а т с к и й — общинный.

по его хребту, какой же я сорняк, если всю жизнь сам борюсь с этими сорняками, как все равно, если бы они были бы моими личными врагами. Ему на лысине своего отца легче отыскать чертополох или другой сорняк, чем в моем саду!

И оскорбил он меня, можно сказать, зря, ни почем. Во время работы на прополке овощей ребята устроили перекур. Сам я не балуюсь табаком: курить — это не только прожигать здоровье, но и деньги...

И вот, пока ребята курили, разговаривали, меня начало клонить ко сну. Чтобы не помешать им, я потихоньку встал, отошел подальше, отыскал неподалеку большой куст и лег под ним. Проснулся, когда уже солнце начинало садиться над ближним лесом, вернее, не я проснулся, а меня разбудил Сары-Самад, мой сосед. Оказывается, в это время стадо возвращалось в селение, а коровы и бычки, приближаясь к кусту, где я лежал, шарахались в сторону или пугливо обходили его. Этим они привлекли внимание Сары-Самада, который в это время возвращался домой с саженью в руках (он у нас работает учетчиком).

Говорят: на хромого козла и скала рушится. Обычно животные боятся, если в кустах (не про нас с вами будь это сказано) валяется покойник или затаится зверь. А с чего они, глупые создания, испугались меня, здорового, мирно спящего человека, и тем привлекли внимание моего недоброго соседа — понять не могу.

И вот на следующий день мой сосед в присутствии всей бригады смешал быль с небылицей,

правду с ложью и начал клеветать и чернить меня. Он говорил, что я будто бы весь день проспал в кустах, когда другие не жалели себя в работе, чтобы перевыполнить норму, что это не первый и, наверное, не последний такой случай со мной. По его словам, меня однажды находили вот так спящим в разгар рабочего дня в «Довгуз камыше»¹⁵, а в другой раз под стогом сена, что я днем на колхозной работе отсыпаясь, чтоб потом всю ночь корпеть в своем саду.

Почти на все его клеветнические наветы у меня есть опровержение. Во-первых, я проспал в кустах не весь день, а три четверти дня, то есть после первого перекура, — надо быть точным. Если сосед недолюбливает соседа — это вовсе не значит, что ему дозволено говорить про него все, что взбредет ему на ум. Во-вторых, я в зарослях «Донгуз камыша» никогда не спал, зная, что это — излюбленное место свирепых диких кабанов. Не такой я глупый, чтобы по своей охоте подставлять свою голову под их острые клыки. Пусть это делает Сары-Самад, если ему его рыжая голова надоела, — хоть раз в жизни сделал бы приятное своему соседу.

И под стогом сена никто не видел меня спящим в рабочее время — вранье! Видели только под копной свежескошенного сена. Гм, человек даже не может толком отличить копну от стога, а берется поучать других. А то, что по ночам я подолгу и усердно работаю в своем хозяйстве, — это правильно. В колхозном хозяйстве,

¹⁵ Д о н г у з к а м ы ш — кабаний камыш.

дай аллах берекет¹⁶, пятьсот дворов, а в моем — один.

Но меня, товарищ редактор, особенно вот что возмущает. Несмотря на то, что я опроверг все наветы моего соседа, собрание бригады все же вынесло решение просить правление колхоза оштрафовать меня на пятнадцать трудодней.

Как же это так?!. С одной стороны, меня чуть ли не на каждом собрании ругают и поносят, что не вырабатываю минимума трудодней, а с другой — сами же режут их. Да так у меня никогда не наберется этого самого минимума...

Коротко о вчерашнем случае, рассказом о котором хочу закончить свое письмо к Вам. Вчера он, мой сосед, чуть не натолкнул меня на смертоубийство и не свел с ума. Да, да! А было это так. Поздно вечером возвращался я со свадьбы домой, а жены моей опять не было дома. Она осталась ночевать у своего дальнего родственника. Когда я вышел во двор, смотрю, у меня в саду под черешневым деревом стоит незнакомый человек с куцей бородкой и в соломенной шляпе. Он тянет на себя ветку с ягодами и нахально смеется мне в лицо, оскалив рот. — Вон из моего сада, хам! — кричу я на него. — Не для того, говорю, вырастил я в поте лица эти черешни, чтобы ты даром лопал их, да еще нагло смеялся надо мной!

А он — ни с места: ни стыда, ни совести. Я вспыхнул, как спичка, тем более, выпивши был, вынес в горячке ружье из дому и пальнул в вора. Незнакомец упал без звука, как подкошенный.

¹⁶ Б е р е к е т — хлеб, добро.

Как только я опомнился, понял, что натворил, мне стало страшно, весь покрылся холодным потом. Бросив ружье, я кинулся бежать к калитке, но от растерянности наткнулся на каменный забор и расшиб в кровь себе лоб. Мне показалось, что это он, вернее призрак убитого, догнал меня и изо всех сил хватил камнем по голове. И я поскорее спрятался в доме... Сколько страхов натерпелся я вчера ночью — не дай аллах даже врагу вашему.

Еще хорошо, что на мой выстрел никто не прибежал, потому что вчера ночью стрелял из ружья не я один. В нашем селении издавна существует обычай: когда жених впервые переступает порог комнаты невесты, где им с сегодняшнего вечера предстоит жить как супругам, наши односельчане выходят за околицу села, стреляют в воздух, приветствуя этим зарождение новой семьи, как будто без их «приветствия» дело не обойдется. Поэтому на мой выстрел никто и не обратил внимания.

Утром, едва дождавшись рассвета, я, подавленный, еле живой, притащился в сад. И как только подошел к тому самому месту, где вчера ночью упал незнакомец, я остолебенел от изумления — под черешневым деревом на мокрой от утренней росы взрыхленной земле лежал не человек, а... обыкновенное чучело, но с козлиной головой. Губы сверху и снизу надрезаны. От этого казалось, что козел смеется во весь рот.

Меня охватила такая бурная радость, что не могу выразить Вам словами, будто заново на свет родился. Я плакал и смеялся. Но вскоре

моя радость сменилась острым гневом на моего недоброго соседа Сары-Самада. Я вспомнил, как он совсем недавно упрекал меня при всех, говоря: «Ты, Гамбар, пережиток прошлого, жадный собственник, можешь из-за пары ягод человека убить...»

Я сразу сообразил, что эта дьявольская шутка — дело его рук, и клетчатый пиджак на чучеле я на раз видел на нем.

Поспешно завернув шляпу и козлиную голову в пиджак, снятый с чучела, я сегодня утром отправился в райцентр к прокурору жаловаться на Сары Самада. А как же иначе. Но обидно то, что прокурор совершенно безразлично отнесся к моей жалобе да еще посмотрел на меня так неласково, так недружелюбно, будто во всем виноват не он, мой сосед а я. Получилось, как в старинной пословице: «Иди заяви хаккму¹⁷, а хаким сказал — убирайся к черту! »

Будьте справедливы, посудите сами: разве после всех тех пакостей, которые причинил мне, безвинному человеку, мой сосед, он не заслуживает, чтобы Вы написали о нем острый, как кубачинский булат фильетун, да чтоб фил¹⁸ придавил его вместе с прокурором!..

¹⁷ Х а к и м — начальник.

¹⁸ Ф и л — слон.



КЛОП В БОРОДЕ

Не знаю, почему очень часто незнакомые мне люди, которых я ни разу в жизни не видел, принимают меня за своего знакомого. Я, конечно, ничего не имел бы против, если, допустим, приняли бы меня за какую-нибудь замечательную личность: Героя Труда, прославленного хирурга, известного педагога, знаменитого поэта или пусть за самого обыкновенного, но честного человека. Ведь приятно слышать в свой адрес хорошее, доброе. Но, к моему огорчению, меня почему-то всегда путают с каким-нибудь противным типом: вором, расхитителем, выжигой, шарлатаном, забулдыгой, тунеядцем, одним словом, с такими отрицательными элементами, о которых принято (и вполне заслуженно) говорить только худое. Как же тут не огорчаться?!. Такое «знакомство», откровенно скажу я вам, чувствительно бьет не только по моему самолюбию и гордости, но иногда (что вдвойне обидно) и по моему карману. Однажды из-за такого именно недоразумения мне пришлось всю свою зарплату до последней копейки выложить одному совершенно незнакомому мне человеку, который, на мою беду, принял меня за своего знакомого.

Был день получки. После работы я спешил домой. По дороге решил заглянуть в гастроном, чтобы купить детям что-нибудь сладкое, а себе — бутылку винца. Но не к добру обернулось мое скромное намерение, что называется: «Пошёл по шерсть, а вернулся остриженным»¹⁹. У самого входа в гастроном кто-то не совсем вежливо хлопнул меня по спине. Я обернулся и увидел перед собой насмешливо улыбающегося невысокого роста полного мужчину лет сорока, с острыми, но раскосыми глазами. Пронзив меня колючим взглядом, незнакомец проговорил обиженно и строго:

— Вы думаете, товарищ хороший, возратить мне свой долг или нет?

— Какой долг?! — удивился я и невольно крепче сжал кошелек в кармане.

— Неужели забыли?! — недоверчиво усмехнулся он. — Помните, когда шесть месяцев тому назад мы с вами были в санатории «Жемчуг» в Крыму, вы брали у меня в долг семьдесят рублей?..

Я начал объяснять ему, что не только полгода тому назад, вообще никогда в жизни я не ездил ни в какие санатории и что здоровье у меня как у быка... Но раскосый неторопливым жестом вежливо остановил меня и залился тихим язвительным смешком.

— Хе-хе, экий вы дипломат, ей богу, — добродушно, почти весело заметил он, с сомнением покачав головой, — прикидываетесь таким на-

¹⁹ Пословица.

ивным... Разве все едут на курорт поправлять здоровье? Сами как будто не знаете. Нередко вместо больного, который действительно нуждается в санаторном лечении, попадает туда такой бык, как вы... — Он на какую-то долю минуты умолк, хитро прищутив глаз и насмешливо улыбаясь, добавил: — Может, напомнить вам, почему вы у меня брали эти семьдесят рублей, а?

И не дав мне опомниться, незнакомец поразил меня в самое сердце еще одной неожиданной новостью.

— Помните заграничную мадам, смуглую, черноокую турчанку, возле которой, хе-хе, вы, извините, так и вертелись вьюном?.. М-да, что и говорить, женщина была что надо... — И он выразительно причмокнул пухлыми, чувствительными губами.

Заметив, как я густо краснею и растерялся, мужчина засиял и радостно воскликнул, точно мальчишка, поймавший заветную птичку.

— Вот то-то, товарищ хороший. Вспомнили теперь?..

— Да не брал я у вас ни копейки, а вас самого первый раз в жизни вижу, чего пристали?! — возмутился я.

Но незнакомец поднял такой шум и так открыто и громко принялся бранить и стыдить меня, точно я его ограбил среди белого дня. Привлеченные его голосом, вокруг нас собрались люди. Не зная толком что к чему, многие из них сразу же встали на сторону «пострадавшего». А какой-то коренастый горячий парень с круглой,

коротко подстриженной головой, напоминавшей взъерошенного колючего ежа, и железными кулаками боксера, пригрозил тут же нокаутировать меня, «свернуть челюсть», если я сейчас же не возвращу раскосому свой долг.

И я в конце концов сдался. Что же мне оставалось делать... Я, конечно, не так уж испугался угроз коренастого парня с кулаками-кувалдами, но город у нас небольшой, многие знают друг друга в лицо. Дойдет этот хабар до ушей моих знакомых, а потом иди докажи каждому, что все это выдумал проклятый раскосый, которого, к слову сказать, даже не знаю до сих пор, как зовут. В кошельке у меня было как раз столько денег, сколько я оказался «должен» моему «кредитору», точнее — грабителю.

Хотя я шел домой после этого с пустыми руками и без единого гроша в кармане, но я (говорю без преувеличения) чувствовал себя как человек, которому, хоть и с ушибами и царапинами, но все же удалось вырваться из лап зверя.

А в другой раз в день Первого мая, как и все граждане в этот светлый праздник, я, веселый, радостный, принарядившись, собирался идти на демонстрацию, когда на улице меня остановил какой-то полупьяный разодетый мужчина с нагловатым лицом.

— Слушай, почему ты мне не отпустил холодильник со склада?—спросил он, заискивающе и в то же время с укоризной глядя мне в глаза.

— Вы попали не по адресу,— холодно, но вежливо ответил я, поняв, что он путает меня с кем-то.

— Бр-р-р-о-сь притворяться! — незнакомец на ходу схватил меня за руку и, плутовато подмигнув, с «дружеским» упреком добавил:

— Ты думаешь, я не заплатил бы тебе магарыч, как и другие, а?..

— Пош-шел вон! — весь побагровев от негодования, крикнул я на него.

Вид у меня, наверно, в этот момент был такой грозный, страшный, что незнакомец испуганно попятился назад.

— Ну, ну, полегче!.. — стал огрызаться он, точно пудель, испугавшийся палки, но продолжающий сердито тявкать. — Гм, можно подумать, что ты и впрямь ни у кого ничего не берешь, отпускаешь все со склада так, без всякой корысти... Ишь, ангел нашелся!.. На какие же деньги ты отгрохал себе каменный дом, купил сыну кооперативную квартиру, обзавелся шикарным гарнитуром? Если люди прямо не говорят тебе об этом, то не думай, что они не знают, что ты жулик!..

Я человек мнительный, крайне самлюбивый и очень обидчивый. Поэтому можете себе представить, каково было мне в этот праздничный день: не праздник — одно расстройство.

Я даже однажды, во избежание подобных недоразумений (до того они мне осточертели), отрастил бороду. Она настолько изменила мою внешность, что даже знакомые вначале и те с трудом узнавали меня. Я, конечно, был рад этому, но, к моему огорчению, жена не только не разделяла моей радости, а прямо-таки изводила меня из-за нее.

Я ужасно не нравился ей с бородой. Особенно возненавидела она мою злополучную бороду, и, казалось, дай только ей волю, с мстительной радостью спалила бы ее, как дырявую шубу, кишашую блохами...

Как-то раз жена к своему несказанному ужасу обнаружила на диване клопа, такого жирного, большого, ленивого (при виде клопа и таракана ей всегда делается дурно).

— Это ты привез его из командировки. Накануне я действительно был в командировке.

Но жена, как всегда в таких случаях, как только я возвращался из командировки, выносила во двор мою одежду, дорожный чемоданчик и принималась старательно вытряхивать и очищать их, чтобы, упаси бог, в щелях чемодана и в складках одежды я «контрабандой» не заносил в квартиру ненавистных ей насекомых.

— Да ты же проверяла мою одежду и чемодан, чего мелешь ерунду?! — решительно запротестовал я.

Но жена продолжала упрямо настаивать на своем.

— Ты привез его в своей... бороде, да, да, только в бороде, — сначала робко, потом более уверенно, заявила она и тут же грозно предупредила: — Если у нас в квартире заведутся клопы и ты не сбереешь свою ужасную бороду, я уйду из этого дома! Выбирай: или я, или твоя борода!

К счастью, «выбирать» не пришлось: при всем своем старании жена больше не обнаружила ни одного клопа. Но зато теперь каждый раз, когда я

приезжал из командировки, тщательному и придирчивому «саносмотру» подвергались не только моя одежда, чемодан, личные вещи, но и моя многострадальная борода.

Даже моя четырехлетняя дочурка и та с неприязнью стала относиться к моей бороде. Раньше, бывало, я только показываюсь на пороге после возвращения из командировки, она сломя голову с радостным криком: «па-пка приехал!..» кидалась мне на шею. А теперь, едва увидев меня, она, подражая матери, по-взрослому насупив черные бровки, строго спрашивала:

— Ты, ласик, клопа не привез в своей бороде?..

И тут же она с деловитым видом принималась подозрительно рассматривать пышную поросль на моем лице.

Но на днях мне все же пришлось обрить бороду, поневоле вернуться к своему первоначальному облику, только не по «семейным обстоятельствам», а по другому совершенно непредвиденному случаю.

Недели две тому назад я решил поехать для сбора материалов к своей книжке очерков и рассказов в один из самых высокогорных аулов. Правда, накануне моего отъезда со мной произошла небольшая неприятность. Если я и напоминаю о ней здесь, то только потому, что она тоже в известной степени сыграла роковую роль в истории с бородой, к которой я, кстати говоря, уже успел не только привыкнуть, но и привязаться.

Вечером жена уговорила меня вытряхнуть пыль из нашего сумаха²⁰, такого же старого, как недобрая память о Ших-Али-Хане, который якобы подарил его своему придворному гадалыщику и звездочету — пращуру моей жены. Но пыли в этом проклятом ханском пишкеше²¹ оказалось не меньше, чем та, которая поднималась из-под копыт иноходца самого Ших-Али-Хана²², когда он в разгар лета, спасаясь от гнева восставших жителей, убежал из Дербента в Персию, несмотря на то, что пращур моей жены по благоприятному расположению небесных планет, предсказывал долгое и счастливое царствование не только ему, но и его потомкам».

Наверно, поэтому жена до того увлеклась выколачиванием пыли из «семейной реликвии», что в порыве чрезмерного усердия едва не выбила мозги из моего черепа. Когда я по неосторожности высунул голову из-за края сумаха, один из ее энергичных ударов (случайно, конечно), пришелся мне прямо по лбу.

Так с шишкой, едва прикрытой пластырем, я уехал в аул.

По приезду туда я сразу же направился в сельсовет, чтобы представиться главе местной власти

²⁰ С у м а х — большой ковер.

²¹ П и ш к е ш — подарок, дар.

²² Ш и х - А л и - Х а н — дербентский хан конца XVIII и начала XIX вв. При его правлении некогда богатый торгово-ремесленный город Дербент пришел в упадок. Восставшие жители, недовольные его деспотическим; и неразумным правлением, в июне 1806 г. изгнали его из города, когда русские войска подошли к Дербенту, и обратились к русскому командованию принять город под покровительство России.

и рассказать, кто я и зачем приехал сюда. Но здешние жители — мужчины и женщины — почему-то встречали и провожали меня какими-то подозрительными взглядами и насмешливыми улыбками. Но я, тут же решив, что виной этому моя растрепанная и запыленная с дороги борода и шишка на лбу, не стал сердиться на них, наоборот, приветливо улыбался им направо и налево.

Глава местной власти, высокий, огромный мужчина лет пятидесяти, в обыкновенной мохнатой чабанской папахе, выразил на суровом лице крайнее удивление, как только я показался на пороге. В ответ на мой «Ассалам алейкум!» он моментально вскочил с места и, вперив глаза в меня, густым басом строго спросил:

— Это вы?!..

— Я! А кто же еще?

— Хм! Это она наставила вам такую здоровенную шишку? — он чуть перегнулся через стол и, надо сказать, не очень почтительно ткнул пальцем, словно копьем, мне в лоб.

Я смущенно улыбнулся и утвердительно кивнул головой.

— Каталкой?

— Угу!

Мой собеседник упал на стул и, закинув голову назад, неожиданно залился громким раскатистым смехом, от которого тряслось не только его крепкое, мощное тело, задорно подпрыгивал каждый волосок на его мохнатой папахе.

— Интересно, а вы откуда знаете об этом? — спросил я, растерянный и удивленный.

— Хм! Откуда мы знаем?! Да об этом знают не только у нас в ауле, но и во всем районе, — с трудом сдерживая смех, проговорил председатель сельского совета, — смеются над вами, говорят: «Поделом ему, жаль что она не разбила ему голову совсем, как дырявый кувшин»...

Я сидел пораженный и никак не мог взять в толк: откуда здесь, в этом далеком горном ауле, где меня видят впервые, знают, что жена стукнула меня каталкой по лбу? Но самое странное и обидное, почему все жалеют, что у меня голова осталась цела на плечах?..

— Это ваше счастье, что она не знала, какую оскорбительную шутку отпустили вы в своем гадком письме в адрес женского пола, иначе, валлахи илазим, одной шишкой на лбу вы бы не отделались... — словно в ответ на мои сомнения, строго и осуждающе проговорил мой собеседник. — Если наш аул самый отдаленный, то не думайте, что можете здесь выделывать всякие фокусы... Не те времена, не те люди!..

Из дальнейшей речи председателя сельского Совета, состоявшей в основном из упреков, угроз и наставлений, обращенных ко мне, я приблизительно понял следующее.

Жена одного из колхозных чабанов, женщина чересчур ревнивая, вдруг вообразила себе, что ее муж за долгие месяцы, что находится с отарой то в яйлаге²³, то в кишлаке²⁴, может разлюбить ее и увлечься другой. Эта мысль, как заноза, засела у нее в мозгу, лишив ее сна и покоя.

²³ Я й л а г — летние пастбища.

²⁴ К и ш л а к — зимние пастбища.

И вот, когда полмесяца тому назад в ауле появился какой-то шарлатан с бородой, назвавший себя «муллой Керимом», суеверная женщина сразу же явилась к нему. Отбросив прочь стеснение, она поведала ему о своем «горе».

— Да, твои опасения, дочь моя, вполне понятны, — подливая масло в огонь, авторитетно изрек мулла, оглаживая бороду.

И в подтверждение сказанному мулла привел ей «глубокомысленное изречение», вроде того, что все что от глаз удаляется и от сердца удаляется...

Но, заметив, как женщина бледнеет, сердобольный мулла тут же принялся успокаивать окончательно расстроенную женщину. Он обещал именем аллаха и его крылатого ангела Джабраила написать ей такой наговор, который вселит в охладевшего к ней мужа знойную страсть пророка Сулеймана²⁵ и пламенную любовь Меджнуна к прекрасной Лейле и что он якобы после этого прилепится к ней сердцем, как пчела к меду.

Сказав это, «мулла» Керим тут же принялся выводить на засаленной и загаженной мухами пожелтевшей от времени бумаге свои замысловатые иероглифы. Но «святой отец», пряча усмешку в бороду, закончил, однако, свой «рецепт» не священным словом «Аминь», а ехидной поговоркой на благозвучном языке фарси: «Занро муяш дароз, огълош кутогъ»²⁶, в полной уверенности,

²⁵ По преданию, пророк Сулейман (царь Соломон) имел тысячу жен и наложниц.

²⁶ У женщины волос долог, а ум короток (посл.).

что в этом далеком ауле, находящемся у черта на рогах, не найдется человека, который понял бы, что он насочинял.

Бумагу с молитвой мулла велел подержать в стакане с водой, а затем напоить этой настойкой мужа. За свой «праведный» труд он получил от благодарной женщины тучного барана.

Случилось так, что на второй же день муж срочно прискакал с летних пастбищ в аул. Он приехал, чтобы доставить дополнительный комбикорм для ослабевшего после перегона с зимних пастбищ молодняка. Но его легковерная жена с нескрываемой радостью усмотрела в этом проявление магической силы «талисмана», написанного муллой.

Весь вечер счастливая жена угощала чабана ароматным хинкалом с чесночной приправой и хмельной бузой, не забыв, однако, при этом незаметно от мужа влить ему «любовное зелье» в очередную пиалу с бузой.

Усталый, отяжелевший чабан уже собирался было лечь в постель, когда у несчастного начались нестерпимые колики в животе, словно кто-то вилами ворошил у него в кишках. И он зарезал как недорезанный бык, перекатываясь по полу.

Жена чабана, не на шутку испугавшись такого неожиданного оборота и каясь в своем поступке, побежала к фельдшеру и рассказала ему о «святой» настойке, которой она по совету муллы напоила мужа. Почти до рассвета с помощью целого ведра горькой марганцевой воды фельдшер промывал желудок бедному чабану, старательно очищал его

от «знойной страсти» пророка Сулеймана и «пламенной любви» безумного Меджнуна.

На утро, когда сердитый, надутый и побледневший муж, едва встав с постели и не прощаясь с женой, уехал обратно на пастбища, его разъяренная супруга, схватив каталку, прибежала к «мулле» и насадила ему здоровенную шишку на лбу. И в тот же день, оскандалившийся шарлатан, погнав перед собой овцу, с сине-багровой шишкой на лбу покинул «негостеприимный» аул.

Но как я ни старался уверить упрямого председателя сельсовета, что я не мулла и никогда им не был, ничего из этого не вышло.

— Бросьте притворяться, — грозно предупредил председатель сельсовета, — валлахи илазим, если вы сейчас же не смаетесь отсюда, я позвоню в районную милицию и вас арестуют, как тунеядца, — и он сердито и подозрительно косясь на меня, демонстративно протянул руку к телефону.

...По возвращении в город я, прежде чем пойти домой, зашёл в парикмахерскую. Едва усевшись в кресло, я решительным движением провел тыльной стороной руки по моей злосчастной бороде и голосом, полным отчаяния и гнева, крикнул ошеломленному парикмахеру:

— С-с-сбр-р-ить!!!

Жена моя теперь довольна, даже очень, а что произошло со мной опять вчера, я уже не в силах вам рассказать.



ЖЕРТВА ИНОСКАЗАНИЯ

Друзья! Дорогие земляки и родственники! Люди добрые! Заклинаю вас всеми святыми, не говорите со мной, ради аллаха, иносказаниями! Их тонкий намек и скрытый смысл не всегда доступен моему наивному разуму. Лучше отчитайте меня, отругайте, но прошу вас, ни в письмах, ни в личных разговорах со мной не употребляйте эти проклятые иносказания и двусмысленные поговорки! Я боюсь их, как ужаленный змеей пеструю веревку. Уж больно чувствительна и глубока рана, нанесенная ими моему сердцу: будь неладны те, кто их выдумал, и те, кто их часто употребляет. Из-за них, клянусь вашей жизнью, родной дядя стал моим кровным врагом. Но самое страшное и самое ужасное то, что из-за нелепых иносказаний я потерял... Вай! Аман! Аман!²⁷ Если бы вы только знали, что я потерял...

Вот как это случилось, друзья мои!

Получил я однажды письмо от своей бабушки, которая самовластно управляла всеми делами нашего тухума, как все равно при историческом матриархальном режиме.

²⁷ А м а н! — Горестное восклицание или выражение боли.

«Дорогой внук! Ответь: «да» или «нет», — в категорическом тоне требовала бабка, — пьют ли твои глаза воду с лица Рейхан?»²⁸

Рейхан, вы знаете — это нежное, хрупкое, благоухающее растение. Но Рейхан звали и девушку, которую я любил. Когда я бывал рядом с ней, мне, действительно, казалось, что все в мире цветет и благоухает. Не раз мы с Рейхан, сидя на зеленой травке под цветущим миндалем или в прохладной тени раскидистой чинары, мечтали поехать в город учиться, клялись любить друг друга вечно.

Но вот получив бабушкино письмо, напоминающее генеральский приказ, я бесчисленное количество раз перечитал его, силясь понять, какой тайный смысл заложен в ее вопросе.

Я в то время лежал в больнице с вывихнутой на свадьбе нашего односельчанина ногой, когда, преисполненный буйной радости, отплясывал лезгинку с моей любимой девушкой. Заинтересованный и озабоченный вопросом бабки, я, забыв про боль в ноге, долго думал и гадал: при чем тут мои глаза и лицо Рейхан?.. «Как могут мои глаза пить воду с лица Рейхан?» «Не спятила ли старая с ума?..»

От чрезмерного напряжения меня даже пот прошиб, словно я в жаркий летний день Молотил хлеб на току. Но так я и не понял, что хотела выведать у меня бабушка. В конце концов я пришел к заключению, что у бабушки от старости, наверняка, заскоки в голове, поэтому она пишет всякую

²⁸ Народное иносказание в смысле: «Нравится ли тебе этот человек или нет?»

чушь, сама не зная зачем и к чему. Но чтобы не обидеть и не обозлить своенравную старуху, я все же написал ей письмо. В нем я просил передать большой привет Рейхан, а ее, бабуку, хе-хе, даваясь от разбивавшего меня смеха и потешаясь от души над ее глупым вопросом, клятвенно заверил, что «мои глаза никогда не пили воду с лица Рейхан», мол, отвяжись ради бога.

Но недолго, очень недолго пришлось мне потешаться и хихикать... Вскоре поняв, какого дурака я сваял и какую непоправимую глупость спорол, я в отчаянии выл и рвал на себе волосы...

Я не знал, что бабушка после того, как я, танцуя с Рейхан, вывихнул ногу, пожелала выяснить мои отношения с ней. Но чтобы не смутить внука и вызвать на откровенное признание, она не спросила меня напрямую, люблю ли я Рейхан. И мои клятвенные заверения о том, что «мои глаза никогда не пили воду с лица Рейхан», она показала девушке. И Рейхан не простила мне этого.

Потом, годом позже, когда я уже учился в городе (разумеется, один, без Рейхан), опять получил письмо от бабушки. Опять она в категорическом тоне пишет мне: «Дорогой внук! Твой дядя успокаивается («Эдее динж бире»)²⁹, поэтому ты немедленно должен приехать и повидать его».

Я тогда был слишком юн и не особенно разбирался в иносказаниях взрослых. Даже и сейчас, не скрою, иногда для моего неповорот-

²⁹ Народное иносказательное выражение о больном, который отходит, умирает.

ливого ума какое-нибудь иносказание такая же темная загадка, как древний иероглиф на расписном саркофаге усопшего фараона. Поэтому я даже и не подозревал, что слова бабушки «дядя успокаивается» имеют трагический смысл, что он серьезно болен и готовится, как говорится, отдать концы.

Не зная этого я, разумеется, воспринял предупреждение бабушки по-своему и, конечно, очень обрадовался такому известию. Говорю, обрадовался, потому что мой дядя, несмотря на то, что носил солидную бороду, отличался диким нравом, был драчлив, как петух. Редкий праздник или свадьба проходили в селе, чтобы этот хулиган с бородой, нализавшись до чертиков, не буйствовал, не учинял драку, не омрачал добрым людям их веселье и покой. Поэтому степенные, миролюбивые сельчане всячески избегали его общества, не приглашали на свои семейные торжества. Они далее ставили вопрос о принудительной высылке этого пьяницы и дебошира из села, не желая больше терпеть его в своей среде, как сорную траву в чистом поле.

Дядя, хотя и любил меня (своих детей у него не было), время от времени даже посылал мне деньги, зная, что на студенческой стипендии не больно разживешься, но я в душе стыдился его. Я сейчас, получив ободряющую весть из дому, накатал дяде откровенно-дружеское письмо следующего содержания: «...Наконец-то, слава богу!.. Я рад, что дождался этого часа... Люди в твоём возрасте, даже самые буйные, давно остепени-

лись, успокоились, а ты все не утихомиривался, сидел у всех в печенках... Скажу, не таясь: мне всегда было стыдно за тебя перед людьми за то, что ты — антиобщественный элемент. Приехать не могу... Экая важность: у кого-то дядя буянил всю жизнь, а теперь, видишь ли, за ум взялся, успокоиться собирается... Причина весьма неуважительная, чтобы отпустили меня с учебы... Но если то, что написала мне бабка — правда, повторяю: я очень и очень рад. Надеюсь, когда приеду, увижу тебя другим. Твой племянник».

Говорят, дядя, получив мое письмо, кипел от злости и возмущался, как самовар, и едва не сошел с ума. Лишь после второго письма из дому, в котором безо всякого иносказания предупредили меня о тяжелой болезни дяди, я немедленно отправился в селение.

Всю дорогу от города до села я переживал, волновался. Меня мучали угрызения совести за то, что я написал дяде такое опрометчивое письмо. Я боялся встретиться с ним с глазу на глаз, в то же время мне не терпелось поскорее увидеть его, попросить прощения, в какой-то степени загладить свою вину.

Потупив глаза, я робко вошел в комнату больного, опустился перед ним на колени. Подозрительно косясь на него, я осторожно, словно лапу спящего в берлоге медведя, взял мокрую от холодного пота волосатую руку дяди и приподнес к губам.

Дядя лежал на спине. За время болезни он страшно похудел, осунулся, почернел. Хотя дядя

заметил меня, но даже не взглянул в мою сторону. Но когда я взял его руку в свою и поцеловал ее, он вдруг стал жалобно охать и вздыхать. Я понял, что дядя ждал моего приезда и простил меня. Ободренный этим, я, чтобы сделать ему приятное, горячо выпалил ему в лицо когда-то и от кого-то услышанное мною иносказание: «Дядя ты такой хороший, такого, как ты, в Марагинских камышах не сыщешь!»³⁰ Ах, лучше бы я сразу лишился языка, прежде чем произнести это проклятое иносказание! Оно окончательно и непоправимо испортило все... Дядя, несмотря на сведавшую его болезнь, как услышал такое признание из моих уст, рассвирепел, как бешеный бык, которому показали красную материю. Он миготом отдернул свою руку, словно мои губы, как раскаленные уголья, обожгли ее.

— Во-о-он! Провались с моих глаз идиот, харам-заде, разбойник, — замахнувшись кулаком и потрясая бородой, заорал дядя на меня так, будто он увидел сейчас перед собой не родного племянника, а ангела смерти — Азраила, пришедшего за его грешной душой. — Мало того, что ты, неблагодарный, желал и радовался моей смерти, да еще обзываешь меня паршивым донгузом, чтобы донгуз своими клыками распорол тебе брюхо!...»

И я, решив, что дядя и впрямь сошел с ума и сейчас кинется на меня кусаться, сломя голову выбежал из дому.

³⁰ Народное иносказание. Марагинские камыши в прошлом кишели дикими кабанами. Это иносказание обычно употребляли, когда говорили о плохом человеке.

Но даю вам честное слово, я не знал тогда, что в «прославляемых» народной молвой Марагинских камышах водятся донгузы. Иначе, посудите сами, стал бы я разве умирающего человека, какой бы свиньей он ни был, сравнивать с ней? Тем более кого? Родного дядю! Наоборот, я по простоте душевной думал, что подобно древним греческим богам, обитавшим на горе Олимп, в наших Марагинских камышах водится какое-нибудь доброе божество, созданное народной фантазией, или нечто вроде благородного джайрана, сравнение с которым должно быть всегда приятно любому.

К счастью, дядя мой, несмотря на мрачное предсказание бабушки, «не успокоился», а выжил. Говорю к счастью, потому что из-за дяди мне теперь не приходится стыдиться и краснеть перед односельчанами. Он изменился к лучшему, совсем другим стал: честно трудится в колхозе, обходителен с людьми. Односельчане уже не избегают его, как чуму, охотно, как друга, приглашают на свои семейные праздники и торжества.

Но одно постоянно огорчает и расстраивает меня: с тех пор дядя со мной не разговаривает, а при встречах делает вид, будто не знает меня. Чтобы скрыть свое раздражение и смущение при встречах со мной, он важно, как индюк, склоняет голову на грудь и принимается пальцами тереть свою уже седеющую бороду, молча проходит мимо меня. И это все из-за этих проклятых иносказаний и поговорок. Поэтому

я прошу вас: не говорите, ради аллаха, со мной
иносказаниями и поговорками! Уж больно чувс-
твительна и глубока рана, нанесенная ими моему
сердцу: будь неладны те, кто выдумал их, и те,
кто их часто употребляет.



АШУР НОВОГОДНИЙ ЖЕНИХ

Как только человек появляется на свет божий, ему сразу дают какое-нибудь имя. Насколько я понимаю, это делается, главным образом для того, чтобы посторонние не путали, допустим, Ашура с Башуром, Шарпа с Шурпом, Худоверди с Пирверди. Все это, конечно, хорошо, правильно. Но, а что делать, если в таком маленьком селении, как наше, одних только Ашуров с полдюжины? Как узнать, о каком именно Ашуре ты спрашиваешь, кого из них хвалишь, а кого хулишь?.. Эта путаница в иных случаях может натворить такое, ого-го, валлахи илазим, беды не оберешься. Я, например, хорошо помню случай, правда, очень давний, но весьма поучительный. У одного из наших Ашуров теща (не про ваших уважаемых тещ будь это сказано) приказала долго жить. А она, теща, жила у зятя. Другой Ашур, не зная, что теща его тезки возьмет да умрет именно сегодня, назначил на этот самый день свадьбу своему сыну. Все было приготовлено к торжеству, ждали только музыкантов из какого-то дальнего села. Только успели похоронить покойницу, как два зурнача и один барабанщик появились в нашем селе. Бедняги не знали, что Ашуров у нас целая прорва, поэтому

спросили у мальчишек, с азартом гонявших на старом гумне, заменявшем им футбольное поле, тряпочный мяч, где дом Ашура.

А те, решив, что гости, наверное, приехали выразить горячее соболезнование тому Ашуру, у которого скончалась теща, издали указали на его дом. Ребята тем более легко могли ошибиться, потому что инструменты свои музыканты припрятали во внутренние карманы, а барабан, завернутый в полушубок и спрятанный в мешок, видимо, приняли за жертвенного барана.

Музыканты, как это водится у нас, чтобы сделать неожиданный приятный сюрприз хозяевам дома, которые их пригласили, не явились сразу к Ашуру во двор. Достав где-то лестницу, они приставили ее с улицы к крыше его дома. Взобравшись на нее, музыканты дружно, во все легкие дунули в свои инструменты, забили в барабан, возвещая всех о том, что началась свадьба, а вместе с ней — веселье.

Ашур и его жена, услышав над головой пронзительные звуки зурны и барабанный грохот, как угорелые, выбежали во двор. Увидев на крыше своего дома, откуда только недавно вынесли покойную, увлеченно играющих музыкантов, они приняли это за вопиющее издевательство и неслыханную насмешку над их горем. Супруги вне себя от ярости, с громкой бранью и проклятиями начали швырять в них на крышу сырые, тяжелые поленья, которые Ашур еще вчера нарубил и сложил пирамидами на середине двора, чтобы они сушились на солнце.

Музыканты, не меньше пораженные и возмущенные поведением самого хозяина дома и его жены, прекратив играть, с беспокойством забежали по крыше, в свою очередь осыпая их оттуда упреками и проклятиями: мол, что это за порядок — пригласили на радостях, а тут поленьями в них швыряют?!

Все это, конечно, могло бы не произойти, если бы музыканты, прежде чем залезть на чужую крышу и поднять шум назвали бы не только имя того самого Ашура, который пригласил их, но и его прозвище. А все Ашуры в нашем селе во избежание каких-либо недоразумений и ошибок, слава богу, имеют свои прозвища. Того Ашура, например, который хотел справлять свадьбу своему сыну, зовут у нас Ашуром Огненной Бородой, а этого, что, толком не разобравшись, швырял вместе с женой поленья в музыкантов, — Ашуром Буйным. Третьего зовут Ашуром-Трактористом, четвертого — Ашуром Ударником...

Единственный из здравствующих Ашуров завселямаг по странной случайности долго не имел прозвища, что, как вы изволите заметить из приведенного мною печального факта, является в условиях нашего селения совершенно ненормальным и даже, можно сказать, не совсем безопасным. Но мои дорогие односельчане, хотя с большим опозданием, но все же спохватились, устранили эту ненормальность и того, говорят, наделили прозвищем. Теперь его зовут Ашуром Новогодним Женихом.

А почему наградили его таким прозвищем, об этом рассказал мне во время своего недавнего приезда к нам в город мой односельчанин Ашур Соловей, прозванный так за свою неутомимую словоохотливость и дипломатическое красноречие.

— Только все, что я расскажу тебе о нем, — понизив голос, просительно взглянул на меня Ашур Соловей, — должно остаться между нами.

— Если ты мне не доверяешь, можешь не рассказывать, — обиделся я.

Мой собеседник смущенно поскреб затылок и, как бы оправдываясь, доверительно произнес:

— Видишь ли, земляк, Ашур Новогодний Жених — мой приятель. Когда к нему поступает хороший товар, он всегда находит меня и шепчет на ушко: «Пришли, мол, хозяйку, есть подходящий материал;... припрятал...» Или еще что-нибудь другое. Все это, знаешь, без обмера и обсчета. А вот не предупреди тебя, э-э-э., — недоверчиво покачал головой Ашур Соловей, хитро улыбаясь, — вы же — писатели, народ известный: у вас что на уме, то и на... бумаге, возьмете и распишете про это самое дело какой-нибудь фельетон или смешную историю, а потом нашей дружбе с Ашуром Новогодним Женихом считай — конец.

После такого предисловия Ашур Соловей немного помолчал, потом, усевшись поудобнее, весело подмигнув, начал так:

— Я помню, когда мой друг Ашур Новогодний Жених был, можно сказать, красивым, стройным, с пышной шевелюрой. Теперь, сам знаешь,

на голове у него столько же волос, сколько на утине яйце, а во рту столько же зубов, сколько у новорожденного младенца. Ходит, как бурдюк, наполненный вином. Годы, конечно, человека не красят. Но речь не об этом. Вздумал дурень на старости лет выкинуть номер — обзавестись второй женой. Есть у нас в селении молодая, красивая вдова, Бенеvше звать ее. И вот Ашур не дает ей покоя, юлит вокруг нее, как лиса вокруг мышиной норки. Давай, говорит, раз ты есть молодая вдова, в полном соку женщина, и я тоже под стать тебе — в расцвете сил мужчина, поженимся по шариату. Будешь, говорит, ходить у меня, как прекрасная султанша, в шелках, вместо хлеба лопать этот самый мармелад и кишмиш.

— А Бенеvше?

— Она? — переспросил Ашур Соловей. — Она его терпеть не может. Ее, скажу вам, тошнит от любовных объяснений плешивого поклонника. Однажды она даже пригрозила ему, что пойдет пожалуется на него в сельсовет, если он не отвяжется от нее. А Ашур в ответ, знаешь, скорчил такое страдальческое лицо и печальным голосом на мотив шикесте спел о том, как Керем за Асли сгорел в огне, а Меджнун из-за Лейли сходил с ума. «Хе-хе, ничего себе, толстопузый завмаг в роли влюбленного Меджнуна!» — язвительно захихикал Ашур Соловей.

— Ты же знаешь, в селе не то, что у вас в городе. Спит, допустим, преспокойно сельчанин на одном конце села и видит сны, а на утро другой, живущий в противоположном конце, уже знает,

что тому снилось. И вот у нас быстро распространился хабар, что Ашур — гром его порази — увивается вокруг молодой вдовы. Узнала об этом и его жена — старая Пери — ведь она тоже не глухая. И стала Пери мрачнее тучи, злее демона. Ревность в ней заговорила. Это, знаешь, для женщин хуже, чем зубная боль. Она, эта боль, идет от сердца. Больной зуб можно выдернуть, а сердце? То-то.

Вот она и напустилась на Ашура: «У твоего сына, говорит, на голове седина пробивается, а ты за молодыми вдовушками волочишься, и не стыдно тебе, старому хрычу, такой-сякой?!»

Ашур, одурманенный «любовью», тупо смотрит в сердитое, морщинистое лицо постылой жены, но видит красивое лицо Беневши. Ну не Ашур, а точно голодная курица, что спит и во сне просо видит.

Случилось это в новогодний вечер. В ауле все готовились к празднику. В клубе украсили елку, как невесту к свадьбе, начали играть в зурну, бить в барабан. Вечером выпал снег, и все стало вроде как-то особенно светло и торжественно.

До полуночи шла в магазине бойкая торговля. Дело понятное: народ хочет на праздник купить подарки, повеселиться... Многие, особенно молодежь, пошли в клуб, иные — в гости. Подошло время и для Ашура закрывать свой магазин, идти домой к своей «благочестивой» и детям встречать Новый год. Подсчитав выручку и положив деньги в карман полушубка, он небрежно накинул его на плечи. Затем, взяв платок с яркими цветами,

Ашур завернул в него дорогой шелковый отрез, кульки со сладостями, пару бутылок шампанского. И куда ты, думал, направил, Ашур, свои стопы? Домой? Хе-хе, чего захотел! К молодой вдове! Пришла ему, дурню, блаженная мысль: «Может, сегодня, в новогодний вечер, повезет, ласковым словом и дорогим подарком удастся смягчить неприступное сердце Беневши?».. Идет Ашур, а кругом — ни души, тишина, снег, на небе звездочки мигают. А Беневше, знаешь, живет на другом берегу реки, что пересекает наше селение. Поправляя на ходу сползающий с плеч полущубок, Ашур неторопливо спускается с горки к мосту и в предвкушении ласки молодой вдовы мурлычет себе песенку:

Был бы я мотыльком,
Ты была б огнем,
Ах, спалила б меня
В объятьи своем...

И вот в тот самый миг, когда завмаг находился на середине шаткого, дощатого моста, на мост, ослепляя его ярким светом фар, неожиданно выскочила легковая машина. Растерявшийся Ашур, боясь, что его могут задавить или сшибить с ног, шарахнулся в сторону и полетел в пучину. В свете фар лишь промелькнула падающая вниз головой тучная фигура, и в то же мгновение ночную тишину огласили душераздирающие крики...

Дальше Ашур Соловей не мог членораздельно говорить, мешал смех. Теперь и я от души смеялся. Все же кое-как пересилив себя, Ашур Соловей довел свой рассказ до благополучного конца.

Оказывается, полушубок с выручкой и узел с дорогим подарком вмиг унес бурный поток. А Ашур, очутившись в ледяной воде, ухватился обеими руками за опорный столб, что поддерживает мост, точно перепуганный ребенок за шею матери, и от страха кричал так, как коза под ножом неумолимого мясника.

Люди, ехавшие на машине, кое-как вытащили Ашура из воды, повезли домой. И вот старый петух предстал перед семьей в новогоднюю ночь: мокрый, с посиневшими лысиной и лицом, не в состоянии вымолвить и слова.

Дрожа всем телом и стуча зубами, он скорее промычал, чем выговорил, тупо уставясь на ошеломленную и перепуганную жену:

— Ко-ко-ву!. Ка-ко-ве!.

— О чем ты говоришь, Ашур джан? — плачущим голосом спросила жена.

Она подвела его к жарко натопленной печи, быстро раздела, как маленького, закутала в шубу. Сердце жены наполнилось острой жалостью и состраданием к нему, на глазах выступили горячие слезы. Несмотря на все огорчения, причиненные Ашуром жене, никогда муж не казался ей таким родным, близким и вместе с тем беспомощным, как сейчас, когда он предстал перед ней в таком жалком виде и дрожал, как лист на ветру.

— Что с тобой случилось, Ашур джан? — с тревогой спросила жена, глотая слезы, — какие злодеи хотели утопить тебя, невинного человека, в ледяной воде?!

— Коро-ву-у!.. Ко-вер, говорю, продай!.. Надо семьсот рублей немедленно внести в кассу. Иначе — в тюрь-му-у-у-у!.. —вдруг, обретая дар речи, заговорил Ашур громко и сердито и в отчаянии ударил себя кулаком по лысине.

О скандальном походе завмага в новогоднюю ночь назавтра уже знали все, и будто поговору наши односельчане стали называть его Ашуром Новогоним Женихом.

Ашур Соловей встал, на прощанье подал мне руку. Но прежде чем уйти, он с минуту постоял, неловко переминаясь с ноги на ногу, точно желая сказать еще что-то. Но почему-то не решался. Наконец, он, махнув рукой, решительно произнес:

— Знаешь, земляк, если хочешь, пиши о нем фельетон или что-нибудь в этом роде, — так ему и надо! И назови его «Ашуром Новогоним Женихом»...



ХАБАР И ХИНКАЛ

Дедушка Азиз вышел из сакли, остановился посреди двора и огляделся вокруг. Землю уже окутывали теплые летние сумерки, в которых расплывались очертания высоких гор, окружающих его родной аул. На небе появились первые звезды, а во многих окнах засветились огоньки.

«Пора идти», — подумал старик. И только сделал первый шаг, как навстречу ему вышла из коровника его жена, долговязая старуха с большими натруженными руками. В правой руке она держала медную, блестящую в сумерках бадью, наполненную пахучим парным молоком. На какую-то долю минуты они остановились друг против друга: она — высокая, костистая, он — маленький, сухонький, сутулый.

«Вот аллах послал мне женушку то ли в наказание за мои грехи, то ли в награду за мою доброту», — мысленно пошутил над собой Азиз, оглядывая жену и задумчиво поглаживая рукой коротко стриженную белоснежную бородку. — Как я на ней женился — ума не приложу?..

Несмотря на свое врожденное добродушие, дедушка Азиз не выносил, когда жена вот так, лицом к лицу, останавливалась перед ним и смот-

рела на него сверху вниз. Ему казалось, что это унижает его мужское достоинство.

Первой нарушила молчание жена.

— Ва, Азиз, куда опять идешь?..

— Куда хочу, туда иду, — зло ответил он и, передернув узкими худыми плечиками, гордо подняв голову, прошел мимо жены.

Жена не нашлась сразу, что сказать своему своенравному и чудаковатому мужу. После короткого молчания она крикнула ему вслед:

— Вот-вот дети должны подойти с поля, хинкал уже сварился, остался бы дома, потолок бы чеснок, поужинали бы всей семьей вместе!

Азиз, услышав слова жены, пошел дальше, всем своим видом подчеркивая, что это его совершенно не касается. Потом, словно опомнившись, остановился, повернулся лицом к сакле.

— Эй, жена! — крикнул ей Азиз. В его голосе звучали решимость и в то же время скрытая насмешка. — Хоть и говорят: хинкал лучше хабара, а по мне добрый хабар лучше твоего худого хинкала. Я иду слушать хабар, а ты как-нибудь справляйся без меня!..

Сказав это, дедушка Азиз ускорил шаг. Он мысленно выругал жену: из-за ее глупой болтовни можно опоздать в клуб, куда он спешил сейчас. Сегодня аульский радиоузел трижды громогласно оповестил джамаат о том, что приехал лектор из города читать лекцию для верующих.

...Из восьмидесяти лет своей жизни дедушка Азиз шестьдесят пять ходил за отарой. Два года тому назад его всем аулом чествовали в клубе и с

почетом проводили на заслуженный отдых. С тех пор не было ни одной лекции или вечера, на которых не присутствовал бы старик. Правда, говорят, что лектор, который приехал сегодня, очень молод, совсем юноша. Многим верующим, которые будут сейчас слушать его, он не только во внуки, но и в правнуки годится. Ну что ж с этого? Есть поговорка: «Ум заключается не в возрасте, а в голове». Иной человек долго живет, а без толку. «Борода длинная, — говорится про таких в пословице, — а ум короткий». На другого посмотришь: молод-зелен, а умом и находчивостью превзошел всех. «Подающий надежды птенчик и в яйце поет».

Рассуждая так, старик не заметил, как очутился у дверей клуба. Азиз заглянул в зал. Он был полон народу — почти одни старики и старухи. На трибуне стоял бледный юноша в ярком галстуке. Все скамейки были заняты, только где-то в первом ряду, у самой трибуны, осталось несколько свободных мест. Азиз на цыпочках прошел туда и чинно уселся.

— Прежде чем рассказать, как произошла жизнь на Земле и как появился человек, — уверенно начал юноша, — я коротко объясню вам, что такое жизнь...

Дедушка Азиз заерзал на скамейке, устроился поудобнее и приложил ладонь к уху: очень интересно, что на этот счет собирается говорить лектор им, старикам.

— Жизнь — это способ существования белковых тел... Сущность жизненного процесса заключается в непрерывной и одновременной

ассимиляции и диссимиляции живого... — тем же уверенным тоном продолжал гость.

Дедушка Азиз зажмурил глаза и энергично мотнул головой, словно желая стряхнуть с себя сонное оцепенение, и, подавшись всем телом вперед, еще больше напряг слух. Но даже после этого все, что говорил оратор, не доходило до его сознания. А лектор сыпал в зал высоконаучные, но совершенно непонятные Азизу слова: агностицизм, атеизм, детерменизм, иядетерменизм, идеализм, дуализм, к месту и не к месту делая ссылки на Платона, Демокрита, Гегеля, Аристотеля, Фейербаха, Дарвина...

«Неужели на свете есть такие имена, которые, как горох из торбы, сыплет этот юноша? — искренне недоумевал дедушка Азиз. — Кто они такие, носящие эти имена? Мужчины или женщины, мусульмане или христиане, живые или мертвые. Может, у него жар?.. А в жару человек может сказать не только непутевое, но выкинуть самую неожиданную шутку. Ведь был же с ним, Азизом, случай, когда он заболел двусторонним воспалением легких и в бреду принял собственную старуху, пытавшуюся напоить его теплым молоком, за самого Азраиля — ангела смерти, пришедшего по велению неба за его душой. Тогда он, недолго думая, вскочил с постели, сорвал со стены кинжал и погнался за старухой. Хорошо, что на ее крик вовремя подоспели соседи и насильно увели его в дом, уложили в постель...

От этих размышлений отвлек дедушку Азиза богатырский храп, раздававшийся прямо за его

затылком. Он невольно обернулся и увидел, как кузнец Сафар спит, сложив свои черные здоровенные ручища на животе и опустив кудлатую голову на могучую грудь, которая, как меха, вздымалась и опускалась в такт храпу. Соседи его тоже сидели с безучастными, скучающими лицами. Это окончательно вывело из терпения дедушку Азиза.

— Можно?! — громко произнес он, обернувшись к лектору.

— Нельзя! — громким басом ответил кузнец, который спросонья принял этот вопрос в свой адрес.— Я еще твоего ишака не подковал!..

Но в ту же минуту сообразив, где он находится, и, испугавшись собственного голоса, кузнец растерянно посмотрел вокруг сонными глазами.

Неуместный возглас кузнеца вызвал дружный хохот, посыпались шутки, остроты... Наконец, когда все стихло, лектор спросил Азиза:

— У вас вопрос ко мне? Но я еще не кончил, — и, немного подумав, добавил: — А впрочем, что вы хотели?

— Твоего здоровья, сынок, прежде всего, — любезно, со скрытыми нотками насмешки и упрёка сказал он, потрогав бородку. — Ты уж, сынок, прости меня, старика, что немного помешал твоей лекции. Но ночь еще впереди, успеешь наговориться,— начал издавека старик Азиз. — Когда курице надо снести яйцо, ты хоть пугай ее тапанчой³¹, она все рано дело свое сделает. Так и у меня. Раз пришла мне мысль в голову, я должен ее обязательно высказать. Иначе я не могу. Если

³¹ Т а п а н ч а — пистолет.

я не сделаю этого — непременно заболею, у меня такой беспокойный характер...

— Вы, дедушка, скажите по существу, — бросил с трибуны гость, жалея, что дал слово этому словоохотливому и, как ему показалось, впадшему в слабоумие старику.

Но старик пропустил мимо ушей его реплику, спокойно продолжал:

— Ты, наверное, сынок, знаешь нашу горскую пословицу: «Конь узнается по ходу, человек — по слову». К чему я это веду? Вот ты сейчас сказал: жизнь — есть вроде ассалам-вассалам, как бы ха-пур-чапур³². Услышав это, сынок, я подумал, что ты еще не знаешь настоящую жизнь, раз так о ней думаешь...

— Что вы, дедушка, я ничего подобного не говорил, — пожав плечами, запротестовал юноша.

— Говорил, говорил, — с места подтвердили другие старики.

— Видите, — торжествующе взглянул на лектора старый Азиз, — не зря говорится: «Сорвалось с языка и — досталось всему миру». Знаешь, сынок, неглупые люди выдумали пословицу: «Жизнь, что соленая вода, чем больше пьешь, тем больше жажда». Вот что такое жизнь, а не то, что ты сказал ассалам-вассалам... На своем веку, слава аллаху, я видел много хорошего и много плохого. Теперь я стар. Как бы сердцу не молодиться, а телу не обновиться. А хочется, валлах, как хочется, чтобы оно обновилось. Жизнь-то у нас совсем не та, что была в годы моей молодости. Где ты сейчас увидишь,

³² Ха п у р-ч а п у р — разная чепуха.

чтобы дети горцев с голыми пупами шлялись по аулу, а взрослые люди из-за куска хлеба скитались по чужим краям, сахаром лакомились только на свадьбах, новые чарыки одевали лишь на свадьбы. Ты бы лучше сказал, как сделать жизнь еще краше, еще веселее, чтобы человек жил долго и бодро, как нам другие лекторы говорили. Вот до тебя здесь читал лекцию доктор, дай аллах ему здоровья. Много хороших слов говорил, а хорошее слово — пища души, почему вредно пить водку, особенно молодому. Молодой и без вина пьян, а напьется, так совсем голову потеряет...

— Хватит, дедушка, — страдальчески сморщив лицо, перебил лектор старика. — То, что вы говорите, к теме моей лекции не относится. Садитесь и не мешайте мне, Пожалуйста!..

Дедушка Азиз хотел еще что-то сказать ему из своих мудрых советов, но, махнув рукой, сел на место. Он решил до конца лекции не проронить ни слова, какой бы вздор не нес юноша. Но не прошло и четверти часа, как дедушка Азиз, вопреки своему решению, опять вступил в полемику с лектором.

Произошло это после того, как лектор, коротко «ознакомив» присутствующих с эволюционным учением Дарвина о происхождении видов, тут же, без всякого перехода, поразил стариков в самое сердце, заявив, что наши предки произошли не от так называемых прародителей Адама и Евы, как утверждается в библии и коране, а от обезьяны.

Услышав это, старики, в том числе и дедушка Азиз, почувствовали себя оскорбленными.

— Астапирулла! — возмутился старый Азиз. — Не даром же говорится: «Если каждый день не услышишь какую-нибудь новость или глупость или оглохнешь, или ослепнешь».

И он, прервав лектора, счел нужным напомнить ему о том, что лет пятьдесят тому назад хозяин, на которого он батрачил, назвал его однажды обезьяной, и он, Азиз, из-за этого выбил ему глаз, потом его целый год таскали по судилищам и полицейским участкам.

В разгар «речи» Азиза какая-то старуха, сидевшая рядом с кузнецом, сочла слова лектора об обезьяне за осквернение памяти своих усопших предков, вскочила с места. Вытянув, как рассерженный гусь, жилистую шею и обнажив беззубые десны, зло прошипела:

— Шам ты обезьяна и шын обезьяны, шайтан проклятый. Каркаешь тут што попало!..

И она, ворча, демонстративно вышла из зала.

После лекции дедушка Азиз сразу же поспешил к жене. Дома все уже спали, кроме старухи. Она терпеливо ждала его возвращения. Увидев жену, он приветливо и ласково улыбнулся ей. «А все-таки, что ни говори, ближе и роднее жены нет на свете человека», — решил он.

— Валлах, жена, зря я на этот раз не послушался твоего совета, — проговорил он и, строго нахмутив седые, лохматые брови, добавил: — Чем такой хабар, какой мы сегодня слышали, твой хинкал в тысячу раз лучше. Подавай его сюда! Бисмиллах!..



ТЕЛЕФОН

Черт дернул меня поставить у себя дома телефон. И зачем я вбил себе в голову, что он мне очень нужен?! Ведь обходился же я, слава богу, без него, без телефона, столько лет! Его отсутствие нисколько не влияло ни на мой сон, ни на мой аппетит, ни на мое настроение. Больше того, из-за этого злополучного телефона, клянусь вам, меня едва не хватил удар.

А, впрочем, мне так и надо. Говорили же мне добрые люди из конторы связи. Особенно есть там один такой пожилой, худощавый человек с удивительно спокойным и приятным голосом, видимо, самый главный.

— Зачем вам, дорогой писатель, телефон? Ваше дело писать, писать и еще раз писать, а не растрачивать попусту свое драгоценное время на телефонные хабары-разговоры.

Честное слово, говорил. А я:

— Поставьте мне телефон — и никаких гвоздей! Дом телефонизирован, у моих соседей есть телефон, а почему мне нельзя?

Мой довод, видимо, сразил самого главного, и мне через несколько дней установили телефон,

такой модный, белый, красивый, хоть погладь его рукой, как живого. Одно лишь огорчало меня: телефон не подавал никаких признаков жизни. Через неделю я взял трубку (на работе, конечно), позвонил самому главному, робко пожаловался.

Телефон вам не патефон, чтобы он запел вам сразу, упрекнул меня в ответ обладатель невозмутимого, приятного голоса.

— Ведь он целую неделю молчит, не говорит!..

— Пусть молчит, хлеба-то он у вас не просит.

— Все это верно, но...

— Простите, дорогой товарищ, никаких «но». У нас нет пока свободных номеров, — и положил трубку.

Спустя три месяца я опять позвонил (с работы, конечно) самому главному.

— Телефон молчит...

— Пусть молчит, хлеба-то он у вас не просит.

— Зачем тогда установили мне телефон? — Вы сами просили...

— Правильно, просил, но чтобы я мог говорить по телефону... В конце концов, фельетон что ли на вас написать? — разозлился я.

С полминуты в трубке слышалось сердитое сопение, потом многозначительное предупреждение:

— Пишите, если хотите, но фельетон — это еще не телефон...

И разговор оборвался.

На второй день у меня на столе затрещал телефон. Я с улыбкой на лице взял трубку, предвкушая удовольствие от разговора с другом, товарищем или просто знакомой.

— Алло, как там самочувствие моей жены?
— вдруг слышу в трубке.

— Что, что?! — мне показалось, что я ослышался.

— Я спрашиваю, как там самочувствие моей жены? — мягче, но настойчиво повторил чей-то мужской голос.

— Откуда я знаю, — вспыхнул я, — и какое я имею отношение к вашей жене или она ко мне? В своем ли вы уме?

— Гм, погодите, это разве не родильный дом? Я разве не с дежурным врачом разговариваю? — извиняющимся тоном произнес незнакомец.

— Нет, квартира.

— Ах, тогда простите.

Голос умолк, я положил трубку, вновь взялся за перо, но раздался звонок, а в трубке — тот же голос спрашивает:

— Скажите, как самочувствие моей жены?

Я, не произнеся ни слова, в сердцах положил трубку. Но через минуту опять звонок, опять он же, опять тот же заклятый вопрос:

— Как самочувствие моей жены?

Я схватился рукой за сердце и глубоко страдающим голосом взмолился:

— Дорогой мой, я же сказал вам, что это не родильный дом, а квартира, не туда звоните.

— А какой номер вашего телефона? — с извинительными нотками в голосе спросил он.

Я назвал. Но незнакомец словно взбесился, услышав номер.

— Как вам не стыдно? Почему врете? — заорал он в трубку так, будто его резали на куски. — Я и вчера и позавчера звонил по этому номеру, и мне все время отвечали как положено... Вы просто — нахал, хули ган!.. Прочь от телефона, иначе милицию вызову!..

Я положил обратно трубку, взял ручку, но уже не мог сосредоточиться. Мысли мои напоминали сейчас пчел, которые разлетелись в разные стороны после того, как в улье заворошили палкой, а теперь не хотят вернуться в него. Дрожащей рукой я вынул из ящика папиросы, закурил. После второй затяжки телефон вновь заверещал. Я поднял трубку.

— Скажите, пожалуйста, кто у меня родился: мальчик или девочка? — спрашивал уже другой, ласковый, но нетерпеливый голос. — Я целую неделю был на кутане, ничего не знаю...

Я сразу понял, что опять звонят в родильный дом.

— А кого бы вы хотели? — усталым голосом спросил я.

— Мне все равно, но желательно мальчика — у меня шесть дочерей...

— У вас — мальчик, — произнес я и тут же положил трубку — по крайней мере, теперь не скоро будет звонить.

Через минуту, о боже! — опять звонок.

— Скажите, пожалуйста, жена моя разрешилась? А то мы все дома волнуемся, сидим, как на иголках, — человек, который спрашивал, назвал фамилию жены.

Я с полминуты помолчал, размышляя: если сказать «не разрешилась», будут звонить опять, опять и опять, поэтому ответил, что она благополучно разрешилась, чувствует себя хорошо, передает привет, целует и прочее.

— А кто у нас родился?

— А кого бы вы хотели?

— Дочку, мечтаю...

— Поздравляю, мечта ваша исполнилась — у вас — дочь, — и положил трубку.

Я взял с кровати подушку, накрыл ею телефон и больше к нему не подходил. Но самая большая неприятность, оказывается, ожидала меня впереди.

На следующий день кто-то три раза ударил ногой в мою дверь с такой яростью, что, казалось, вот-вот она сорвется с петель и с грохотом рухнет на пол. Я мигом подбежал, открыл дверь и увидел перед собой совершенно незнакомого мне мужчину с тремя свертками в руках. Два свертка он держал в правой руке, а один — в левой. Незнакомец был среднего роста и средних лет с суровым, смуглым обветренным лицом, которое украшали отличные черные усы, лихо закрученные кончиками вверх. Одет он был в пиджак, брюки галифе с широкими клинами и мягкие блестящие сапоги. Голову незнакомца венчала серебристая каракулевая папаха с широким бархатным верхом.

— Я узнал, это вы, оказывается, вчера отвечали мне, что у меня родился сын?! — окинул он меня недобрый, почти враждебным взглядом.

По его голосу я сразу догадался, что это тот самый, который говорил, что целую неделю был на кутане...

— Да, я.

— А почему вы мне наврали? Ведь у меня же родилась тройня — и все три девочки!! Вот они у меня на руках.

— А при чем тут я? Разве я виноват?!

— Я что ли виноват! — резко оборвал он меня, — если вы сообщили мне по телефону неправду... Кто вас заставлял?

Я чувствовал свою вину и решил благоразумно промолчать. Но тот, крича и бранясь, ставил мне в вину то, чего вовсе не было, о чем я даже не думал.

— Вы хотели разыграть меня, подшутить надо мной, посмеяться? Где же ваша совесть? — Он вздохнул, осторожно и бережно поправив на руках свертки, смерил меня злым, ненавидящим взглядом. — Вздумав из-за этого подшутить надо мной, вы тем самым нанесли тяжкое оскорбление не только мне, как отцу, но и моим новорожденным, всему женскому полу... Этого вам нельзя, невозможно простить!

— Слушайте, я совсем не имел такого намерения, — пытался я успокоить его, — но отец новорожденных не слушал меня, все больше и больше расходясь, продолжал осыпать меня упреками.

— У меня на руках три будущих горянки — три! — Он гордо поднял голову. — Горянка сейчас — инженер, горянка — ученый, горянка

— министр, о горянках книги пишут, а вы... Эх... жаль, очень жаль, что жена немного подкачала, — в голосе его явственно прозвучали нотки сожаления, — не родила сразу четверых — ей бы повесили на грудь звезду Матери Героини назло вот таким отсталым и пустым насмешникам, как вы... Телефон завели, мебель — заграничная, а мозги с плесенью...

Пока я, страдая и вздыхая, слушал упреки и брань отца новорожденных детей, вдруг с ужасом заметил, что еще один незнакомец, в шляпе, со строгим, почти сердитым лицом, поднимается по лестнице со свертком в руках. Мне показалось, что это тот самый мужчина, которого я поздравил по телефону с рождением дочери, а у него, наверное, сын. Теперь и он, видимо, тоже направляется ко мне... Я быстро захлопнул за собой дверь, взволнованный и расстроенный подошел к телефону и тотчас же позвонил самому главному в контору связи.

— Слушайте, почему все мне звонят и спрашивают родильный дом?

— А-а-а! Это очень просто, мы дали вам номер телефона, принадлежавший родильному дому. У них несколько телефонов. Ничего, обойдутся без лишнего телефона. А вы, пожалуйста, не волнуйтесь.

— Как же не волноваться, люди же не знают об этом, звонят мне без конца. У меня из-за этого большие неприятности!

— Да, это вполне возможно, — согласился самый главный, — будут звонить еще.

— До каких пор? — с тревогой спросил я.

— Пока не издадут новую абонентную книжку и не укажут точно, у кого какой номер.

— А скоро ли ее издадут, эту самую абонентную книжку?

— Наверное, не скоро, судя по тому, что последняя абонентная книжка по нашему городу была издана... ровно пять лет тому назад.

Я в отчаянии схватился за голову, взмолился:

— Тогда дайте мне, ради бога, другой номер.

— Не можем, — холодно отрезал тот.

Я пригрозил, что перережу провод, выброшу телефон в мусорный ящик. Но на это «самый главный» ответил мне своим обычным невозмутимым и приятным голосом.

— Ваше дело — поступайте как хотите, но платить каждый месяц за телефон вам все равно придется, потому что ваш дом телефонизирован, а за вами закреплен номер.

И вот сижу я теперь и проклинаю тот день и тот час, когда я обратился в контору связи с настойчивой просьбой, чтобы мне установили телефон. На горе себе я его поставил.



ЧЁРНЫЕ СЛЕЗЫ

Эх-эх, бабка, бабка, будь ты неладна!.. А еще говорят: «Уваж-ж-жай, мол, их, стариков, почита-а-ай, склоня-я-яй свою голову перед ними, как перед святыми!..»

— А что она тебе плохого сделала, эта бабка?

— Что сделала! Без ножа зарезала, без ружья убила. Вот что сделала.

Понимаешь, наша контора «Заготрогатскот», где я работаю заведующим ветеринарной службы, построила красивый десятиквартирный дом со всеми удобствами. Дом на берегу моря, точно санаторий. В каждой квартире два балкона: один выходит на море, другой — в набережный парк, где по вечерам весело гремит оркестр. Одним словом, не дом, а мечта! Скоро его должны заселить. Но как бы я ни мечтал, я знал, что попасть в этот дом у меня столько же шансов, сколько у грешника войти в рай. У меня есть квартира из двух комнат, правда, без удобств. Да и семья у меня — я да жена. Детей у нас нет. Живем для себя. А там видно будет. Однако, если трезво рассуждать, какое мне дело до того, что есть семьи, которые вовсе не имеют квартиры или нуждаются в расширении жилплощади. Я о себе

забочусь. Как говорится: «И пророк за свою голову молится».

И вы знаете, голова моя гудела, как улей: я долго думал, мучился, прикидывал, что же такое предпринять, чтобы все-таки влезть в этот дом? То в мыслях своих я штурмовал его и самовольно мигом оккупировал четырехкомнатную секцию. А когда приходили меня выгонять, я отчаянно сопротивлялся, хватаясь за острые и тупые предметы... То я грозно стучал кулаком перед самым носом директора и председателя профсоюзного комитета, как кувалдой по наковальне. То я пытался всучить кому-то взятку... То я... Одним словом, этим «то» и «то» в моем разгоряченном воображении не было конца. Но я тут же с сожалением и досадой отбрасывал одно за другим эти самые «то» и «то»... Зачем себя обманывать? Хотя и называется наша контора «Заготрогатеко́т», но управляют ею люди, а не быки, и коровы с рогами и хвостами.

Одним словом, неизвестно сколько бы я еще мучился, если бы жена не подсказала мне самую верную мысль.

— Слушай, у тебя, кажется, в селении живет столетняя бабка?..

— Правда, живет! — задыхаясь от радости, бросился я обнимать жену. — Вот это идея!..

Честное слово, не вру. Как только я вспомнил о своей бабке, меня сразу охватило такое волнение, такая нежность и такая тоска по ней, что, казалось, милее и роднее ее человека у меня не было и нет на свете и что я без нее не смогу прожить

и часу, как рыба без воды. Не смогу — и все! Вот что значит родная кровь! Но вместе с волнением, нежностью и тоской я остро почувствовал угрызение совести. Как же не чувствовать, окаянная моя голова, если бедная моя бабушка, как круглая сирота, одна-оди-нешенька. Нет у нее ни мужа, ни сыновей, ни дочерей, один я. И живет бабушка моя, можно сказать, у чужих, у своей сестры, тогда как у нее есть прямой потомок — я!

Одним словом, я, недолго думая, в тот же день помчался в селение, чтобы привезти в город мою бабушку жить со мной в новой квартире. Да, да! Именно в новой квартире! Пусть, думаю, теперь руководители конторы «Заготрогатскот» посмеют отказать мне в ней. Прежде всего я заставлю их запомнить лучше, чем собственное имя, то, что таких старожилов Земли, как моя столетняя бабушка, академики на учет берут. Они вроде бы как исторические памятники далекого прошлого находятся под особой охраной государства. Кроме того, моя бабушка — мать партизана. Ее сын, мой дядя, погиб от рук фашистских злодеев.

Как бы там ни было, я уже знал: раз бабушка будет со мной, ордер на новую четырехкомнатную квартиру с балконами на море и в парк, где по вечерам весело гремит оркестр, у меня в кармане. Но меня теперь беспокоило другое: застану ли я бабушку в живых? Не скрою: я давно не видел ее и ничего не слышал о ней. Как-то получалось так, что среди городской суеты и будничных забот, я, грешным делом, обычно забывал о ней, не писал письма, не справлялся о ее здоровье.

Но, к счастью, опасения мои оказались напрасны. К своей великой радости, я застал бабушку живой и здоровой. И она, бедная моя старушка, была рада-радешенька встрече со мной, своим единственным внуком.

Я был доволен — за девять лет, что я не видел бабушку, она нисколько не изменилась. Такая же маленькая, сухонькая и шустрая. И такой же у нее кальян с аршинным чубуком, который она редко выпускает изо рта. Несмотря на свой древний возраст, она сохранила острое зрение и хороший слух. Единственная перемена, которую я в ней заметил, это то, что бабушка, как мне показалось, стала еще меньше.

Сначала бабушка и слышать не хотела о переезде в город, чем, конечно, здорово напугала меня. Потом, когда я ласково обнял бабушку за острые плечики и шутливо пригрозил, что непременно похищу ее, как в свое время дед мой похитил ее, если она добровольно не захочет поехать со мной, она расчувствовалась, прослезилась и, в конце концов, согласилась.

В тот же день я, посадив свою старушонку на машину, привез ее в город. Мы с женой все время кружились вокруг нее, как мотыльки вокруг свечи, от которой исходит свет и тепло. Старались создать праздничную атмосферу в доме, чтобы ей у нас было весело и приятно. Я даже в тот вечер повел бабушку в театр. Купил два билета в первом ряду, чтобы ей хорошо было видно и слышно. Но я сейчас каюсь, ох, как каюсь, наверное, всю жизнь буду каяться, что совершил такую

опрометчивость. Но не буду забегать вперед, а расскажу все по порядку.

В тот вечер в театре показывали пьесу о том, как советские партизаны в годы Отечественной войны боролись в тылу врага. Бабушка, задрав сухой морщинистый подбородок, чинно сидела и с напряженным вниманием смотрела спектакль. Все вроде было в порядке, пока двое вооруженных фашистов не втащили в немецкий штаб одного нашего пленного партизана. Бабушка тотчас же беспокойно заерзала на стуле и принялась вслух ругать фашистов. Немецкий офицер начал допрашивать пленного, но тот упорно молчал. Когда фашистский офицер, разъяренный молчанием партизана, направил на него пистолет, бабушку как будто ветром сорвало с места. В то же мгновение на сцену полетела резиновая калоша, облепленная грязью, и шлепнулась о гладко зачесанный затылок немецкого офицера.

— Не смей, душман³³ проклятый! — топая ногой, срывающимся голосом крикнула бабушка на офицера, — иначе я тебя, окаянного.., — бабушка потянулась и за второй калошей.

Все это произошло так быстро и неожиданно, что я не успел вовремя удержать разошедшуюся бабку. Занавес сразу опустился. Под недовольные возгласы одних, веселый смех других я грубо схватил бабушку за руку и быстро потащил за собой к выходу.

Я был потрясен и разгневан на бабушку и, не в силах совладать с собой, напустился на нее с

³³ Душман — враг.

упреком и бранью. Мне, как человеку порядочному и культурному, было досадно и стыдно за ее дикую выходку на виду стольких людей. Она, низко опустив голову, всю дорогу угрюмо молчала и тихо всхлипывала, краем платка украдкой от меня вытирая слезы.

Я понял, что ей самой стыдно и неловко за свой скандальный и, самое главное, ничем неоправданный поступок.

На следующий день я сочинил большое заявление на имя директора и профкома конторы «Заготрогатскот» с категорическим требованием, чтобы мне в первую очередь предоставили четырехкомнатную секцию в новом доме. Вернулся я в тот день домой в самом радужном настроении. Я уже, как наяву, представлял себе нашу жизнь с женой в новой квартире и как мы с ней под звуки оркестра, обнявшись, прильнув щекой к щеке, танцуем на нашем балконе.

Но я был крайне изумлен, когда, войдя в комнату, застал жену с воспаленными, заплаканными глазами. По ее виду было видно, что она чем-то очень расстроена, удручена. По щекам катились черные слезы (ей плакать нельзя, она красит ресницы). Но я сразу понял, что жена плачет из-за бабушки потому, что ее пребывание у нас ей не только неприятно, но доставляет заботы и хлопоты. А я как порядочный человек и настоящий муж жалею свою жену. И это естественно. Она как женщина мне нравится, кроме того, жена моя приносит домой денег не меньше, чем я, заведует дамским салоном.

Я, конечно, сделал вид, что все это пустяки, ласково улыбнулся и прошептал ей на ушко, чтобы бабушка в другой комнате не слышала нас (я не сомневался, что она там или дремлет, как курица на насесте, или курит свой кальян, наполнив комнату дымом).

— Потерпи еще немного, моя дорогая, вселимся в новую квартиру, а потом мы вежливенько выпроводим ее назад в селение, раз она не может привыкнуть к городскому образу жизни.

При этом я ласково потрепал жену за щечку, как маленькую, еще раз ободряюще улыбнулся ей: мол, не тужи, все будет так, как нам нужно, удобно...

— Да она уже уехала, — с внезапно прорвавшимся рыданием проговорила жена.

— И ты не смогла удержать ее?! — мне показалось, что почва ускользает из-под моих ног.

Жена, глотая черные слезы (как они сейчас мне были противны), с убитым видом покачала головой.

— Нет, не смогла.., — в отчаянии проговорила она. — Я и так и эдак просила, умоляла бабушку, чтобы она еще немного оставалась здесь, иначе нам не видать четырехкомнатную квартиру в новом доме...

— А она что?!.. — перебил я жену в нетерпении.

— Валлах, говорит, раз такое дело, я тем более, говорит, ни одной минуты не останусь. Мне, говорит, не нравится у вас. Если уж, говорит, вам с мужем хочется четырехкомнатную квартиру,

приезжайте ко мне в селение. Там его отцовский дом пустует. Хороший сын, говорит, должен поддерживать очаг в доме своего отца.

Одним словом, наша надежда получить новую квартиру с балконами на море и в парк, где по вечерам весело гремит оркестр, лопнула, как мыльный пузырь. И все из-за чего, спрашивается, из-за чего!? Из-за моей бабушки. А еще говорят: «Уваж-ж-жай, мол, их, стариков, почита-а-ай!...»



КАК Я ВОСКРЕС

Я умер. Но умер не наяву, а во сне и поэтому видел, чувствовал и слышал все, что происходило со мной и вокруг меня.

Едва неумолимый ангел смерти — Азраил вместе с последним вздохом отнял мою душу, меня раздели догола и сняли с кровати (покойнику, мол, незачем без дела валяться в постели). Тело мое еще не остыло, когда его положили на голый пол в одном из углов комнаты (теперь всё равно никакая хворь к нему не пристанет). Угол завесили белой простыней (неприлично ведь взрослому мужчине, если он даже мертв, растянуться нагишом на виду у всех). У моего изголовья поставили священный огонь — зажженную лампу.

Потом меня тщательно омыли горячей водой (видимо, в рай не пускают без предварительной санобработки), завернули в белоснежный саван.

После всех этих и других процедур, предусмотренных обрядом (знаете, иногда живому легче попасть на прием к начальнику-бюрократу, чем покойнику в свою яму), меня положили на погребальные носилки, накрыли черной материей и быстро понесли на кладбище.

Впереди процессии шли мои сестры, тетки, двоюродные и троюродные сестры моей бабушки (жена осталась с детьми дома, она от горя не в состоянии была двигаться).

Все мои родственницы рвали на себе волосы, царапали себе лица, прыгали и громко причитали. Выше всех прыгала, несмотря на свои шестьдесят лет, и громче всех причитала моя мачеха. Пусть, мол, люди знают, что она, мачеха, тяжелее всех переживает кончину своего пасынка.

И, глядя на мачеху, я невольно вспомнил свое безрадостное детство: как она из-за лишнего куска хлеба била меня смертным боем и как за малейшую провинность щипала и кусала меня.

«Эх, мачеха, мачеха! — думал я с горечью. — Если бы ты с таким же усердием работала в колхозе, с каким колотила меня, валлах, твое имя давно занесли бы на Доску почёта».

Но я смотрел на все происходящее беспристрастно, равнодушно, как и полагается мертвому. Однако, когда со своих носилок, покачивающихся на плечах моих согласно шагающих друзей, как на волнах, я бросил прощальный взгляд на родной город, освещенный лучами предзакатного солнца, меня охватили невыразимая тоска и волнение. Он, этот город, был мне дорог и мил. Здесь я вырос, познал волнение первой любви. Город из года в год рос и хорошел на моих глазах. Многие здания в нем были выстроены при моем участии, и я смотрел на них, как смотрит старый садовник на деревья, посаженные и выращенные его заботливыми

руками (при жизни я был бригадиром одной из строительных бригад).

Горькая, как полынь, жгучая, как молния, мысль о том, что я на веки вечные расстанусь со своим городом, детьми, женой, что умираю, не дожив до старости, возмутила меня, все во мне восстало.

Мне пришлось призвать на помощь всю свою волю, чтобы подавить в себе эти земные проходящие чувства и покориться своей участи, памятуя, что покойник должен вести себя, как жених перед венцом, — тише воды, ниже травы, иначе потеряет уважение со стороны живых.

Все шло чинно и строго, как полагается по обычаю.

Похоронная процессия вступила на кладбище. Носилки со мной осторожно сняли с плеч и бережно положили у свежевырытой могилы, откуда несло сыростью и тленом. Кругом возвышались надгробные камни и безымянные холмики, застывшие в скорбном молчании. Они наводили меня на грустные мысли. Невольно приходили на память печальные строки величайшего из поэтов Омара Хайяма:

Друг мой, в могилу скоро ляжешь ты,
Где света нет, любви и красоты,
Слушай, эту тайну никому не открывай, —
Не расцветают вновь увядшие цветы...

Я ждал: вот-вот снимут меня с носилок, положат в яму, и мир с голубым небом, горячим солнцем и мерцающими звездами навсегда захлопнется передо мной. Но в это время чей-то

146

голос объявил об открытии траурного митинга по поводу моих похорон. От имени коллектива и профсоюзной организации СМУ дали слово пожилому мастеру Дада Бадаеву, бригадиру второй строительной бригады, с которой соревновалась моя бригада.

Грусть моя несколько смягчилась, когда я услышал его знакомый и сердечный голос. Я не сомневался, что этот седой человек с добрыми глазами скажет обо мне людям несколько задушевных слов...

Но какой же удар я испытал, когда увидел, что он вытащил из кармана несколько листков, напечатанных на машинке и, запинаясь, начал читать, впиваясь близорукими глазами в текст:

«За последние годы у нас повсеместно широким фронтом развернулось жилищно-бытовое строительство... Наш боевой девиз: строить быстро, дешево и высококачественно...»

Дальше оратор сообщил— похоронной процессии о производственных показателях нашей строительной организации, доложил, где и что она строила за последние годы, упомянул несколько передовиков производства, в том числе и меня. Обо мне он сказал, что я «ловко орудуя мастерком и свободной левой рукой, в одну смену перекрывал по две с лишним нормы».

Старик и сам чувствовал, что говорит не то. Он с досадой дергал головой, хмурился, кряхтел, но продолжал читать речь, написанную, видимо, для него каким-то административным сухарем. В конце своего выступления он бросил все-таки в

мою сторону поспешный взгляд, но, боясь надолго оторваться от бумаги, продолжал чтение:

— Дорогой Хизгил! Пусть трехэтажный двадцати-квартирный дом, который мы строим со всеми коммунальными удобствами на улице Веселые ребята, будет памятником тебе за твой доблестный труд в нашем коллективе. Спи спокойно, дорогой... Прощай и до свидания!..

Я незаметно обвел взглядом лица столпившихся на кладбище людей. Нарушив приличествующую моменту скорбь, они — о ужас! — весело улыбались. Один коротконогий, большеголовый, пучеглазый толстяк без всякого стеснения хихикал так, будто его щекотали.

От досады и возмущения я чуть не повернулся на носилках. «Ну зачем доброму Да да Бадаеву потребовалось выступить с этим отчетным докладом на моих похоронах? — сокрушался я. — Неужели в дни большой радости или большого горя у каждого из нас не найдется несколько сердечных слов?.. А какое же горе больше, чем смерть друга, товарища?... Ведь в человеческом языке столько славных, верных слов. Неужели я только и занимался в своей жизни тем, что «ловко орудовал мастерком и сжимал кирпич левой рукой?» Разве не был я любящим мужем, нежным отцом, верным другом, разве не было у меня радостей и горестей, мечтаний и стремлений?! Почему обо всем этом не сказали ни слова?»

Толстяк, придерживая обеими руками свой тугой живот, точно боясь уронить его, уже не хихикал, а хохотал.

Вдруг и мне самому стало смешно. Сперва тихо, а потом все громче и громче начал я хохотать. Все мое тело содрогалось от смеха.

Как я ни старался сдержаться, ничего не выходило. (Что это за порядок, если покойники начнут смеяться над живыми, — до сих пор всегда было наоборот).

От моего громкого, раскатистого смеха черное покрывало под носилками колыхалось все сильнее, как от крепкого ветра. К удивлению всех, я вдруг ожил, встал и сбросил с себя мрачное покрывало. Я слышал, что смех излечивает от многих болезней, а на этот раз смех излечил меня от самой страшной штуки — смерти.

Проснувшись в то утро, я сказал жене: — Знаешь, если я умру раньше тебя, пусть над моей могилой не устраивают митинга.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Толмач имама (повесть)	5
-------------------------------------	----------

Юмористические рассказы

Как Муза стала Марусей	73
Сосед мой — враг мой	82
Клоп в бороде	90
Жертва иносказания	103
Ашур Новогодний Жених	111
Хабар и хинкал	120
Телефон	128
Черные слезы	136
Как я воскрес	144

Авшалумов Хизгил Давидович

Издательский дом «Новый день».

Отпечатано по изданию:

Толмач имама. Повесть и рассказы.

Махачкала, Дагкнигоиздат, 1967. 152 стр.

Редактор *В. Михальский.*

Худож. редактор *Е. Омельченко.*

Техн. редактор *М. Ханукаев.*

Корректор *Г. Далгат.*

Подписано в печать 5.08.08.

Формат 70 x 90 ¹/₃₂. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Гарнитура «Minion Pro».

Усл. печ. л. 4,75. Тираж 1000 экз.

Заказ № 38.



